

В СВОДКАХ НЕ СООБЩАЛОСЬ...

НИКОЛАЙ
ЧЕРКАШИН



ЛЕС ПРОСТРЕЛЕННЫХ КАСОК

В сводках не сообщалось...

Николай Черкашин

Лес простреленных касок

«ВЕЧЕ»

2022

УДК 821.161.1-311.3
ББК 84(2)

Черкашин Н. А.

Лес простреленных касок / Н. А. Черкашин — «ВЕЧЕ»,
2022 — (В сводках не сообщалось...)

ISBN 978-5-4484-8880-1

Заключительный роман трилогии известного военного писателя Николая Черкашина, посвященной событиям начального периода Великой Отечественной войны в Западной Белоруссии (две первые книги «Брестские врата» и «Бог не играет в кости» вышли в издательстве «Вече» в 2020 и 2021 годах соответственно). В основе сюжета – боевые действия 3-й армии Западного фронта и судьбы ее командующего генерала Кузнецова, генерал-лейтенанта Карбышева, а также многих других реально существовавших бойцов и командиров. Многочисленные батальные эпизоды, связанные с обороной города Гродно, захватом фортификационного подземелья Лагерь Дождевого Червя, пронизаны лирическими историями трех ведущих героев – капитана Шибарского, лейтенанта Пустельги и майора Демченко. Завершается роман, а вместе с ним и вся трехтомная эпопея штурмом Рейхстага и эпохальным водружением над ним Знамени Победы.

УДК 821.161.1-311.3

ББК 84(2)

ISBN 978-5-4484-8880-1

© Черкашин Н. А., 2022

© ВЕЧЕ, 2022

Содержание

Несколько слов от автора	6
Часть первая	11
Глава первая	11
Глава вторая	14
Глава третья	22
Глава четвертая	29
Глава пятая	35
Глава шестая	40
Глава седьмая	44
Глава восьмая	49
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Николай Андреевич Черкашин

Лес простреленных касок

© Черкашин Н.А., 2022

© ООО «Издательство «Вече», 2022

Светлой памяти

*Константина Симонова и Ивана Стаднюка, прошедших сорок
первый огненными тропами и позвавших за собой*

Несколько слов от автора

Роман «Лес простреленных касок» завершает трилогию, посвященную Великой Отечественной войне. Первый из них, «Брестские врата», повествует о начале войны в старой крепости Бреста, о действиях бойцов 4-й армии и ее командира генерал-майора Коробкова. В основу второго, «Бог не играет в кости», положены малоизвестные события, произошедшие в районе Белостокского выступа, – трагический исход по дороге смерти воинов 10-й армии во главе с генерал-майором К.Д. Голубцовым. И вот, наконец, «Лес простреленных касок» – роман о третьей (она и по номеру была 3-я) армии, стоявшей на северном фланге Западного фронта. Немецкое вторжение застало ее врасплох, как и 4-ю, и 10-ю. Ожесточенные бои за Гродно, провал почти неподготовленного контрнаступления на второй день войны, и мудрые действия командующего армией генерал-лейтенанта В.И. Кузнецова, на долю которого выпала миссия взять Берлин и поднять флаг Победы над поверженным Рейхстагом.

Таким образом, возник роман в трех книгах, и все они вышли в издательстве «Вече». Этот масштабный труд завершился благодаря режиму пандемии, который позволил исключить привычную суету жизни и основательно засесть за каждодневную регулярную работу. Воистину, нет худа без добра! И хотя автору всё же пришлось переболеть «болезнью века», тем не менее из-под пера вышли три объемные работы, написанные во многом на историческом материале, вобравшие в себя судьбы реальных людей. Некоторые из них (командующий Западным фронтом генерал армии Д.Г. Павлов, генерал-лейтенант Д.М. Карбышев, командарм-10 К.Д. Голубцов и другие) перемещаются из романа в роман, поскольку связаны между собой единством времени и места действия: предвоенные годы, начало войны в западных областях Белоруссии.

Роман «Лес простреленных касок» написан в тех местах, где я родился и где прошло мое детство: Волковыск, Слоним, Сморгонь и другие города Гродненской области. Я очень обрадовался, когда узнал от Владимира Богомолова, автора моего любимого романа «Момент истины», что со времен войны ему хорошо знакомы места, которые так близки и мне: Лида, Слоним, Белосток, Гродно, Шиловичский лес. В память о писателе, о его службе в тех местах и временах, я назвал одного из своих персонажей именем Владимира Богомолова. А потом так же помянул и Ивана Фотиевича Стаднюка: он воевал в начале сорок первого в этих местах, а я хорошо знал его по Студии военных писателей. И очень дорогой мне Константин Симонов судьбой и смертью своей причастен к Белорусской земле, и ему поклон в романе. Тут нет никакой нарочитости: все трое прошли по той огненной земле и волей-неволей позвали за собой. В своих стихах и книгах они запечатлели соратников – бойцов сорок первого. Мне оставалось только перечитать их творения и вспомнить их живые рассказы...

И последнее. «Лес простреленных касок» – это тот самый Шиловичский лес, где действуют герои богомоловского «Момента истины».

Часто бывает: читаешь – и вспоминаешь, что тебе эти места знакомы. Порой бывает и по-другому: попадаешь в некое пространство, и возникает дежавю – кажется, тебе всё близко, всё узнаваемо, хотя ты никогда здесь не бывал. Именно это чувство я испытал, войдя в Шиловичский лес. Писатель не придумал это место, лес действительно находится там, где говорится в романе, – в треугольнике между Лидой, Слонимом и Волковыском.

«Лес этот с узкими, заросшими тропами и большими участками непролазного глушняка местами выглядел диковато, но вовсе не был нехоженым, каким казался со стороны, – он был изрядно засорен и загажен войной... Разложившиеся трупы немцев в обмундировании разных родов войск, ящики с боеприпасами и солдатские ранцы, пожелтевшие обрывки газет, напечатанных готическим шрифтом, и пустые коробки от сигарет, фляги и котелки, бутылки из-под рома, заржавевшие винтовки и автоматы без затворов, сожженный мотоцикл с коляской,

миномет без прицела и даже немецкая дивизионная пушка, невесть как затащенная в глубину леса, – что только не встречалось на пути Андрею... Единственно, что на минуту задержало его внимание в первой половине дня, – старый, разложившийся труп в полуистлевшем белье, с обрывком толстой веревки вокруг шеи. Явно повешенный или удушенный – кто?.. кем?.. за что?..

Такого обилия грибов и ягод, как в этом безлюдном лесу, Андрей никогда еще не видел. Сизоватые россыпи черники, темные, перезрелые земляничины, должно быть невероятно сладкие, – он не сорвал ни одной, дав себе слово поесть досыта только после того, как что-либо обнаружит.

Над лесом и будто над всей землей стояла великолепная тишина. В жарком тускло-голубом небе не появлялось ни облачка. Как только он оказывался на солнце, горячие лучи припекали голову, жгли сквозь гимнастерку плечи и спину».

Таким Шиловичский лес был в августе 1944-го, когда в Белоруссии еще звучали последние выстрелы операции «Багратион». В июле 1941 года он был почти таким же, только в зеркальном отражении: под его деревьями лежали тела убитых советских солдат, а тропы, поляны, просеки были усыпаны советскими патронами, повсюду валялись остатки разбитых грузовиков, винтовки, гранаты... Через этот лес прорывались, выходя из окружения, танки, автоколонны, конники и бесчисленные пехотинцы 10-й армии, самой мощной на Западном фронте, а может быть, и во всей РККА, армии, состоявшей из шести (!) корпусов, а не двух-трех, как обычно.

Эти места полны особой исторической сакральности. Здесь разыгралась одна из самых жестоких трагедий минувшей войны: десятки тысяч красноармейцев, выходивших из Белостокского котла, попытались прорвать немецкий заслон, который преградил выход под Слонимом. В Берлине были уверены: измученные стокилометровым переходом бойцы, потерявшие полковых и дивизионных командиров, без связи, с танками на пределах топлива и боезапаса, голодные, израненные, не смогут вырваться. А они вырвались! И так вырвались, что потом из Берлина приезжала в Слоним комиссия выяснять, почему вермахт понес такие потери. Военные врачи немецких войск установили: некоторым солдатам буквально перегрызли горло. Вот с такой яростью прорывались здесь окруженцы. Увы, не многим удалось выйти к своим. Те, кому не повезло, все еще лежат в том лесу...

Местные жители бывают здесь редко и неохотно: эти места окутаны дурной славой – лес мертвецов, лес убитых солдат... О похожем пели солдатскую песню герои романа Ремарка «Черный обелиск»:

Аргоннервальд, Аргонский лес,
ты на погосте нашем – крест:
так много доблестных солдат
в твоей земле холодной спят!

Мы входим в этот лес втроем: лесник Иван Жак, поисковик Дима Козлов и я, автор этих строк. Идем вдоль заросшей колеи – это старая Варшавка, дорога, которая с давних времен вела из Варшавы в Слоним, Новогрудок, Минск. Потом ее затмила новая трасса с твердым покрытием (ныне отлично асфальтированная). Именно по той новой дороге, единственной в округе, вынуждена была выходить из окружения 10-я армия, именно ей суждено было стать в 41-м дорогой смерти, именно с нее, обильно политой кровью, сворачивали на лесную, изрядно заросшую Варшавку автоколонны с войсками и беженцами, надеясь укрыться под сенью леса от бесконечных налетов «юнкерсов». Но сверху, из корзин поднятых в воздух аэростатов-корректировщиков, хорошо было видно, куда сворачивали вереницы машин, их догоняли самолеты и тут же накрывали мощным бомбовым ковром. После такой обработки

колонны замирали, чадно дымили горящие машины, из их кабин свешивались убитые шоферы, а из кузовов – окровавленные тела пассажиров. Живые уходили пешком на Ружанское шоссе, в обход захваченного Слонима. А разбитые колонны стояли... Стояли месяцами, пока немецкие тягачи не оттаскивали несчастные полуторки на станцию, чтобы отправить их в рейх на металлолом. А всё, что слетело с этих машин при бомбежке, упало по обочинам Варшавки, уже восемь десятков лет лежит в траве, подзоле, папоротниках, в заплывших воронках...

Поисковики всегда возвращались отсюда с богатым уловом: пули, гильзы, осколки, детали грузовиков, пулеметные диски, обрывки истлевших петлиц с командирскими кубарями, а то и шпалами старших офицеров. Не раз и не два находили в лесу обрывки женских сумочек, гребни, обломки детских игрушек... Но прежде всего поисковики отмечали места найденных костей, чтобы вернуться сюда с военными археологами и перезахоронить погибших людей как положено.

Те, кого заносило в этот страшный лес ночью, рассказывали про голубые огоньки, мерцавшие в зарослях папоротника, про смутные тени, мелькавшие среди стволов искалеченных деревьев. А один местный житель, решившийся пройти по Варшавке за полночь, и вовсе лишился дара речи: сильно заикаясь, он мог произнести только «в-в-в-ва» и мычал с вытаращенными глазами...

...1 июля 1941 года немецкий офицер записал в дневнике: «Здесь наши танки опять поработали. Перед опустошениями на этой дороге бледнеет картина “Мертвый лес”. Трупный запах еле можно выдержать...»

Авиация и артиллерия долго обрабатывали лес, заполненный людьми в военной форме. До войны, вспоминают старожилы, он был густой и могучий, небо закрывал. Снаряды и бомбы выкосили сосновые боры. В некоторых местах было столько воронок, что осенью и по весне, когда их заливало водой, расплывалось озеро. После того как были разгромлены немецкие заслоны в Клепачах и Озернице, подразделения Красной армии подошли к лесу, сквозь который проходило шоссе на Слоним. Там их ждала прочная оборона главных сил 29-й мотодивизии. В отчаянных и почти бесплодных попытках прорвать ее снова погибли множество красноармейцев и командиров, многие попали в плен.

Массовое истребление окруженных советских войск, учиненное под Слонимом, потрясло даже одного из его участников – офицера 29-й моторизованной дивизии. Его дневник впоследствии попал вместе с автором в плен: «Гражданских мы также бьем всеми видами оружия, находящегося на вооружении германской армии. Жаль только, что не хватает веревок, чтобы вешать этих коварных», – пишет он о боях под Озерницей. Следом, в записи от 26 июня, оценка уже иная: «Но в этом лесу всё выглядит страшно. Лежат средства передвижения, расстрелянные и сожженные, оставленные на дороге и около нее при поспешном бегстве. На многих видны следы гусениц наших танков. Повсюду в хаотическом беспорядке разбросано оружие, снаряжение, обмундирование. Над всей этой картиной разрушений парит трупный запах. Во всех положениях раздавленные, сожженные, обугленные машины, дорога непроходима».

И наша дорога непроходима тоже, но по другой причине. Шагаем с лесником напролом, снимая с голов паутину и клещей, стряхивая муравьев и давя комаров – чащоба полна голодных насекомых, полна алчной летучей, ползучей, кусачей жизни. Мы – лесоходы, чашчелазы, по-другому не скажешь... Идем в посмертный дозор, рыскаем в своем добровольном патруле. Под ногами треск валежника, чваканье трясины. Порезал палец об острый зазубренный осколок снаряда – вот тебе и ранение... А тут еще над лесом стала собираться гроза с орудийным грохотом небесных разрядов, с огненными пиками вонзающихся в землю молний. Все ушли далеко вперед, а я один в лесу мертвецов... Ветер зашумел в кронах, и тут же заскрипели стволы старых дубов. Словно сам лес тшится что-то сказать сквозь зубовой скрежет...

Коршун над полем кружит. Словно ожившая былина. «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?» Поле и в самом деле усеяно костями и ржавым железом войны. Лежат они,

«солдатушки, brave ребятушки»... Одним словом – братушки. А то аист пролетит, вытянутый в полете, словно белая стрела... Догоняю своих.

Лес как лес – с грибами лисичками, земляникой, зайцами, бобрами, косулями... Но только шагни за обочину колеи, только взглядишь в траву, в заросли папоротников – и увидишь то ржавое железо неразорвавшегося снаряда, то рваную маску противогаза, то диск танкового пулемета...

Металлоискатель Козловича плачет почти на каждом шагу. Лес звенел от осколков, пуль, гильз, а чуть поодаль шелестели по новенькому асфальту шины скоростных лимузинов. Там жизнь неслась по другому руслу...

«Чистильщики» Алехин, Таманцев, Блинов (герои «Момент истины») входят в лес, чтобы отыскать следы, оставленные диверсантами. Мы тоже ищем следы, но оставленные нашими бойцами горьким летом сорок первого. Открываю книгу: «Тропка была как тропка, заросшая травой, и я все время усиленно смотрел себе под ноги. Как и вчера, немецкая противопехотная мина с взрывателем нажимного или натяжного действия более всего волновала мой организм».

Поисковики предупредили нас об особой осторожности – в лесу оставались авиационные мины. Там немало еще не разорвавшихся мин, снарядов... Саперы после войны прочесали этот лес на скорую руку, а потом никогда сюда больше не возвращались. Мы обещали ничего не трогать, не поднимать, будем только фотографировать. Но и от этого отговаривали: немцы сбрасывали с самолетов противопехотные мины, они не потеряли своей убойной силы, наступишь, зацепишь, сдвинешь, а там ртутные взрыватели... Идти можно только со знающим проводником. С таким, как Иван Жак, уроженец здешних мест, бывший солдат белорусской армии.

А еще вместе с нами пробирается отважная женщина Валерия Шибарская. Она приехала сюда из Омска, чтобы найти своего прадеда, капитана Михаила Шибарского, командира саперного батальона, пропавшего без вести в этих лесах. Мы от души желаем ей удачи, но шансы пока призрачны. Впрочем, поисковикам иногда невероятно везет, на этот счет десятки историй.

* * *

...Они въехали в этот лес, ища спасения от немецких самолетов, а нашли в нем свою смерть. Все: и командиры, и солдаты, и семьи офицеров, и гражданские беженцы... Они и сейчас там лежат – найденные, непогребенные, неотпетые, хотя прошло уже более восьмидесяти лет... Трава и листья, лесной подзол скрывают их останки, их вещи, их оружие, детали грузовиков. А то и не скрывают – вон лежит неразорвавшаяся граната, нестрелянный патрон, диск от танкового пулемета, заводная ручка полуторки, защелка дамской сумочки, петлицы с сержантскими рубиновыми треугольничками...

У них уже нет ни просьб, ни мольб. У них только один общий завет: «Не входите в наш лес! Он стал нашим кладбищем. Не ступайте по нашим черепам, не разбирайте на сувениры наши вещи... Мы тоже хотели жить, но нам выпал смертный жребий. И этот лес – наше последнее пристанище. Будьте милосердны!»

Все они, бездыханные, вошли в новое бытие – в многосложную жизнь леса во всех ее четырех стихиях; жизнь, знакомую нам, живым, лишь отчасти, поверхностно и очень приблизительно. После смерти они вошли отнюдь не в заоблачное существование, а в еще более земное; теперь их посмертное житие всецело подчинено кружению Земли вокруг Солнца со всеми ее зимами и веснами, закатами и рассветами. Это и был *тот свет*, пробивавшийся к ним сквозь листву и иглы деревьев. Это был *мир иной* – подземный, перевитый корнями деревьев, кустов, трав, ходами земляных тварей. И все дожди теперь – их дожди, и все листопады и сне-

говеи – их, как дар Божий. Их плоть вошла в лесную почву вместе с дождями и паводками. Мать-природа натянула над ними, словно полог, паутину на ветках, задернула, словно занавеску, ряску на озерах. И стал лес порталом времени, в которое можно войти по этой вот заброшенной, заросшей дороге, местами истончающейся до тропы. Ничто так не впитывает время, как зеленая губка леса, она наматывает его на годовичные кольца деревьев, словно пленку на бобину, она обволакивает текучей древесиной ржавое железо, прячет в дуплах гранаты, а между корневищ – снаряды и мины.

Вот над костяком бойца склонилась лаборантка с кисточкой, будто сестра милосердия над больным, будто раненому помогает. Кости здесь не выдергивают, а мягко освобождают от земли...

Я ждал, что чьи-то бережные руки
Отроют мой засыпанный окоп...

Вечный покой? Далеко не вечный и далеко не покой: то лемехом тракторного плуга бойца заденут, то ковшом экскаватора, то лопатой строителя, то щупом поисковика. Прокладывают через их «вечный покой» то трассу газопровода, то траншею фундамента, то пожарную просеку в лесу вырубят, то котлован начнут рыть. Воистину говорит Евангелие: «Мы здесь только временно, пришельцы и странники, не имеем постоянного жилища, а ожидаем жилища от Бога, где не будет ни войны, ни болезней, ни скорбей, ни слез, но жизнь бесконечная...»

Здесь, между Волковыском, Лидой и Слонимом, три войны наложились одна на другую: французская с Наполеоном и две германских, против кайзера и фюрера. Металлоискатели натываются то на мушкетную пулю, то на кайзеровскую шрапнель, то на авиационную бомбу. Гродно – Волковыск – Зельва – Слоним, великий ретиральный безотрадный путь...

Приехала черная «каравелла», груженная до потолка салона черными пакетами с костями найденных солдат. Некоторые мешки прозрачные, и сквозь пленку на нас смотрят оскалы черепов. Все они едут в 52-й поисковый батальон – теперь это их последняя дислокация.

Ждем саперов взрывать бомбы. Бомбы подрывают прямо на местах: они настолько опасны, что не подлежат перевозке.

Эти взрывы – взрывы из сорок первого года, будто поставлены на восьмидесятилетний замедлитель. Они грохочут, как погребальный салют. Это и есть момент истины...

Часть первая Гродно-родно

*Ничего, что немцы в Польше,
Но сильна страна.
Через месяц, и не больше,
Кончится война.
Рио-рита, рио-рита —
Вертится фокстрот.
На площадке танцевальной
Сорок первый год...*

Геннадий Шпаликов

Глава первая Во субботу, день ненастный...

Армейский комиссар 2-го ранга¹ Николай Иванович Бирюков, член Военного совета 3-й армии, надел очки-велосипед в круглой черной оправе и сел за рабочий стол, заваленный бумагами: донесениями, планами, отчетами, сводками, письмами и черт знает чем еще. Сел, замурлыкав, по обычаю, какую-то песенку. Бумаги он не любил, приходил от них в тоску и поднимал себе настроение старыми казачьими песнями, вот и сейчас чуть слышно запел себе под нос:

Во субботу, день ненастный,
Нельзя в поле работать.

Он поднес поближе к глазам листок из школьной тетради с заголовком «Сигнал». Далее шел текст, написанный явно не школярской рукой, ровным и изящным, скорее всего женским, почерком: «Настоящим сигнализирую о морально-бытовом разложении прокурора 85-й стрелковой дивизии² военюриста 2-го ранга Иерархова Иннокентия Павловича, а также военного судьи той же дивизии военюриста 3-го ранга Глазуновой Галины Ивановны, которая, будучи матерью двоих детей и женой майора Глазунова, начальника разведки той же дивизии, вступила в интимные отношения с прокурором, что неприемлемо ни по морально-этическим соображениям, ни по служебным, ни по всем прочим...»

Эх, нельзя в поле работать,
Ни боронить, ни пахать.

Читать дальше Бирюков не стал. Это был заурядный донос, наверняка написанный кем-то обиженным и на прокурора, и на судью. И даже если всё это так и в самом деле имелся «факт морально-бытового разложения», всё равно это сигнал не по адресу: у военных юристов своя епархия и свое начальство, пусть оно и разбирается. Но поскольку письмо было зарегистриро-

¹ Персональное звание политсостава РККА соответствует званию «генерал-лейтенант».

² Номер дивизии изменен.

вано в приемной политотдела, Николай Иванович наложил резолюцию «Принято к сведению» и отправил документ в архив. Сделав дело, он продолжил петь под нос:

Мы пойдем с тобой, милая,
Во зеленый сад гулять;
Во зеленом во садочке
Хорошо пташки поют.

– Н-да, хорошо пташки поют...

А Глазунова жаль. Начальника разведотдела дивизии Бирюков хорошо знал по Халхин-Голу: деятельный толковый разведчик, владевший японским, немецким, литовским языками, Виктор Глазунов был представлен за личную храбрость к ордену Красной Звезды, и именно Бирюкову, члену Военного совета фронтовой группы войск, выпало вручать награду бесстрашному бойцу. Потом всех награжденных собрали в большой госпитальной палатке, где размещался политотдел группы и где был накрыт на скорую руку раскладной стол – несколько бутылок никем еще не пробованной водки «Столичная», конская колбаса, тонко нарезанное сало, монгольские хушеры с бараниной, сыр бислаг и корзина с яблоками. Произнести ответный тост от имени награжденных взялся тогда еще молодой командир капитан Глазунов. Сказав все положенные в таких случаях слова о высоком доверии и долге оправдывать его и впредь, до полного разгрома японских милитаристов, он вдруг заключил свою краткую речь трехстишием средневекового японского поэта:

С треском лопнул кувшин:
Ночью вода в нем замерзла.
Я пробудился вдруг³.

– Вот так же лопнет и кувшин Японской империи, и пробудятся все покоренные ею народы! Да здравствует мировая революция и ее вождь товарищ Сталин!

Ладный, подтянутый, гибкий, он был живым эталоном воина новой советской формации – знающего, умелого, карающего любого врага. И вот на тебе – такая подлая баба человеку досталась, такая бомба заложена под крепкую советскую семью.... Не зря в песне поется:

Не про нас ли всё с тобою
Люди бают, говорят?
Меня, молодца, ругают,
Тебя, девица, бранят?

Николай Иванович вконец расстроился: теперь с недоброй руки этого «сигналиста» пойдут кругами слухи, домыслы, рано или поздно достигнут и Глазунова. Он хорошо знал гарнизонные нравы. Слишком хорошо... Сам не раз бывал объектом подобных кривотолков, чуть с женой не развелся. Жаль парня... Переводиться ему надо, и чем раньше, тем лучше. В тот же Белосток, например... Но как его навести на это дело, да так, чтобы не почувал подоплеку?

Во субботу, день ненастный...

³ Хайку японского поэта Басё.

Бирюков выглянул в окно. День-то стоял самый что ни на есть погожий, чудный июньский день. На старинной улочке в узких палисадниках белым цветом полыхал жасмин. Бирюков вызвал помощника:

– Пригласите ко мне начальника разведки 85-й дивизии майора Глазунова.

Помощник исчез под заключительный куплет любимой песни комиссара 2-го ранга:

Прощай, девки, прощай, бабы,
Угоняют нас от вас
На те горы на крутые,
На злосчастный на Кавказ.

Глава вторая

Гродненский патруль

А между тем... А между тем главный фигурант «сигнала» военюрист 2-го ранга Иннокентий Иерархов получил из рук дежурного по штабу дивизии пистолет, извлеченный из сейфа с заручным оружием⁴. До этого Иннокентий имел дело лишь с наганом, и то только на стрельбищах, теперь же ему выдавался на сутки новенький ТТ.

Иннокентий закончил юридический факультет Московского университета. До той поры в армии не служил, но, получив диплом, принял предложение знакомого военкома, отца своего однокурсника, пойти в военную юстицию. После курсов Военно-юридической академии служил он в Московском гарнизоне, и не где-нибудь, а в Главной военной прокуратуре. Начинал с самой низовой должности, но довольно быстро пошел вверх и даже досрочно получил звание военюриста 2-го ранга. Карьеру пришлось делать не в лучшее время: в Главной прокуратуре, как и повсюду в РККА, шла беспощадная чистка партийных и беспартийных рядов. Умные люди посоветовали Иннокентию перевестись на время в войска, подальше от Москвы, мало ли что... Он поверил умным людям и перевелся в Западный особый военный округ, а там его отправили в абсолютно незнакомый город Гродно на должность дивизионного прокурора.

Дивизия только-только набирала полный штат, и пока из-за нехватки среднего начсостава всех, кто к нему относился, – интендантов, военврачей и даже военюристов, – привлекали к несению всевозможных служб. Вот и Иерархова, в чьих петлицах посверкивала капитанская шпала, назначили в гарнизонный командирский патруль. Никогда доселе этих обязанностей он не выполнял и потому с любопытством принял новую роль. Впрочем, в чем-то она совпадала с его юридическими функциями – быть «государевым оком», то есть следить за правопорядком, за тем, достойно ли ведут себя товарищи командиры на улицах большого города, соблюдают ли правила ношения военной формы, козыряют ли друг другу как положено, соблюдают ли прочие уставные нормы. Пистолет же полагался и для придания особого веса фигуре начальника патруля, и для того, чтобы уверенно чувствовать себя в среде хоть и советского, но всё еще чужого, а по ночам и вовсе враждебного города. Именно об этом говорил ему на инструктаже помощник военного коменданта, который был весьма доволен, что патруль возглавит человек с профессиональной юридической подготовкой. Всегда бы так было! Но на все патрули юристов не напасешься.

Тут прибыли два бойца с шашками на перевязях. Один аж целый сержант, рослый бывалый казачина в гимнастерке цвета старого сена, другой помладше, по-юношески розовощекий, оба в кубанках, на васьильковых петлицах скрещенные на подкове шашки. Кавалеристы? Казаки.

Старший приложил ладонь к кубанке:

– Сержант Пустельга. Сто сорок четвертый кавполк. Прибыл для несения патрульной службы.

Представился и младший:

– Казак Нетопчипапах.

Иерархов улыбнулся:

– Как-как? Нетопчипапах? И много ты папах истоптал?!

– Фамилия у меня такая. Казачья.

– Где же ваши кони, казаки-разбойники?

⁴ Заручное оружие – оружие, которое остается без употребления за некомплектом или убылью людей в войсках. В военное время его возят в обозе, а при накоплении сдают в специально учреждаемые склады или войсковые арсеналы.

– А мы пулеметчики, – пояснил Пустельга. – Из пулеметного эскадрона. Наши кони при тачанках.

Сам 144-й полк стоял в Кузнице, в Гродно же располагался его пулеметный эскадрон. Обычно рядовые бойцы ходят в патруль со штык-ножами на поясе, но казаки прибыли со своим штатным оружием – шашками. Иерархову это понравилось – солидное сопровождение, но помощник коменданта, капитан-танкист с лицом, чуть заплывшим казенным жирком, озбоченно заворчал:

– Вы б еще с мечами приперлись! С шашками в патруль не положено. И куда я их теперь дену? В сейф не засунешь, на гвоздь не повесишь. Вам штык-ножи положены, а не сабли.

– Шашки нам по форме одежды положены, – возразил Пустельга. – А штыки – это для пехоты.

– Учить меня будешь?! По форме одежды... На парадах шашкой махай, тогда это по форме одежды. Ну ладно, в порядке исключения идите с шашками. На страх врагам, так сказать.

Капитан внимательно осмотрел гимнастерки: подшиты ли свежие подворотнички? Подшиты. Не одобрил собранные в гармошку голенища надраенных до черного блеска сапог:

– Не на свадьбу собрались. Голенища выпрямить!

Помощник коменданта принял строгий вид и вручил Иерархову схему патрулирования.

– Обращаю особое внимание на район вокзала. Здесь могут быть и транзитные бойцы, и празднующиеся личности из нашего гарнизона, и хрен знает кто... Ваша обязанность, товарищ военюрист, делать напоминания равным себе и младшим по воинскому званию военнослужащим, нарушающим дисциплину, если необходимо, проверять у них документы. И последнее: в особых случаях после установления личности нарушителя доставлять его в военную комендатуру. И последнее: связь с комендатурой по телефону из любого советского учреждения. Или через посыльного – бегом, аллюр три креста. Моя фамилия Семенов. Слыхали такую? Почти Иванов. Можете мне напрямую звонить. И последнее: не пропускайте и подозрительных гражданских личностей. В случае чего оказывайте содействие органам милиции.

Так, это я сказал... И последнее. В парках не отсиживаться, мороженое не лизать, цукеркату всякую, лимонады и прочие лакомства во время несения службы не употреблять. Не курить. На обед – в столовую при комендатуре. После обеда час на отдых – и снова на маршрут, но уже по второму варианту. Задача ясна?

– Так точно.

– Вопросов нет?

– Никак нет.

– И последнее, но очень важное: в случае нападения на патруль имеете право применять оружие на поражение. Но надеюсь, дело до этого не дойдет. Ни пуха ни пера!

* * *

Иерархов шагал по привокзальной площади вместе со своими бойцами. Казаки с интересом поглядывали по сторонам: большой и почти заграничный город их интриговал, и особенно девушки, модные местные паненки, которые гарцевали по тротуарам на высоких каблуках.

Пустельга вдруг сбил кубанку на затылок:

– Ой, дудаки летят!

– Где? – вскинулся его товарищ.

– Дудаки летят, а дураки глядят! – захохотал сержант.

Иерархов невольно улыбнулся. Пустельга подтрунивал над своим младшим односумом при каждом удобном случае. Ребята молодые, озорные. Сам же он в свои тридцать два чувствовал себя служивым мужем, умудренным житейским опытом, всезнающим и всепонимающим.

Тяжелая кобура оттягивала ремень, а он важно патрулировал: зорко высматривал в толпе людей в гимнастерках и френчах; строго следил, отдают ли честь, а также, как напутствовал его помянутого коменданта, соблюдают ли «все нормы ношения летней парадно-выходной формы одежды». У рядовых красноармейцев проверял увольнительные записки, у командиров – выборочно – документы. Помощник предупредил, что в городе могут быть диверсанты, переодетые в советскую форму. Это вносило особую тревожную ноту в выполнение рутинных обязанностей патруля.

Иннокентий в свои явно не юношеские годы всё еще мечтал отличиться именно на военном поприще, а не на ниве юстиции. Его здешние прокурорские дела были довольно однообразны и мелки. Сплошным потоком шли пьянки, разбазаривание казенного имущества, дорожно-транспортные происшествия, а то и вовсе несурзные ЧП. Судили капитана-штабиста: хорошо набравшись в ресторане, он, выходя, закрыл дверь и опечатал ее печатью для секретных документов. Или вот только вчера разбирался с делом по «расхищению социалистического имущества». Следователь оформил пухлую папку документов на старшину шорной мастерской Валько. Из нее явствовало, что старшина-шорник продал частникам два строевых конских седла общей стоимостью в пятьсот двадцать рублей. Теперь Валько грозило тюремное заключение до трех лет с конфискацией имущества. Иннокентию было жаль незадачливого предпринимателя, отца семейства и отменного кожевенника.

– Зачем ты продал седла? – спрашивал он поникшего преступника суровым прокурорским тоном.

– Я их не продавал, гражданин прокурор, их никто бы и не купил, они бракованные были.

– И что ты с ними сделал?

– На бимбер сменял, то есть на самогон, по-ихнему, – потупился Валько.

– Акт о выбраковке седел есть?

– Никак нет, не успел составить.

– Так торопился выпить?

– Так точно! У меня дитё родилось, девочка, значит. Надо было отметить с товарищами.

– На сколько седла потянули?

– На десять бутылок.

– И что, все выпили?

– Никак нет. Еще пять бутылок осталось... Про запас.

– Вам спирт выдают для производственных нужд?

– Выдают. Мы им кожу размягчаем перед прошивом.

Иерархов вырвал из блокнота листок, на котором записал несколько советов для подследственного.

– Смотри сюда и запоминай, если не хочешь загреметь в тюрьму. Важно: ты седла не продавал, то есть не получал за них денег. Но совершил неравноценный обмен на жидкость производственного назначения. То есть факта наживы не было.

– Истинный бог, не было никакой наживы! Какая ж тут нажива, когда пили всем коллективом.

– Про выпивку помолчи! Второе: ты готов возместить нанесенный ущерб как в товарообменном виде, то есть оставшимися бутылками для производственных нужд, так и деньгами из жалованья. Готов?

– Еще как готов! Всё отдам, только в тюрьму не сажайте.

– Раньше надо было думать, и желательно головой... Кто ж тебя под суд-то спровадил?

– Командир нашей хозроты старший лейтенант Емышев.

И тут выяснилось, что хозрота еще не передана в состав дивизии, и формально старшина шорной мастерской Валько подлежит юрисдикции судебного органа той кавалерийской дивизии, которую сейчас реформируют в танковую. Танкистам седла не нужны, а сле-

довательно, и шорная мастерская без надобности. И дело надо передавать в другую инстанцию, которая зависла между двумя дивизиями. На этом Иерархов и сыграл, и старшине Валько досталось не уголовное наказание, а административно-служебное.

– Вам бы адвокатом быть, а не прокурором, – прокомментировал это дело прокурор 3-й армии на совещании дивизионных и корпусных юристов. И был прав, потому что свой университетский диплом Иерархов писал как раз по адвокатуре, положив в основу деятельность легендарного Федора Никифоровича Плевако.

Но вот младшего лейтенанта Сурганова, командира взвода радиорелейной связи, выручить не удалось. Дернуло же его за язык съязвить про символ пролетарского единства, серп и молот! Едкое присловье изложили потом в письменном «сигнале» так: «Якобы хочешь жни, а хочешь куй, якобы все равно получишь якобы мужской половой орган». За младшим лейтенантом Сургановым числилось и еще одно высказывание, записанное за ним на занятиях по марксистско-ленинской подготовке. Речь шла о Третьем съезде РСДРП в Лондоне. «Интересно, – спросил ехидный младший лейтенант, – а сколько на том съезде было рабочих и крестьян?» Старший политрук сначала опешил от такого, казалось бы, невинного вопроса, потом мгновенно понял его подоплеку (какие рабочие и крестьяне могли позволить себе приехать в Лондон на партийный съезд, да и кто бы их туда, в Англию, пустил?!) и тут же дал отпор антипартийному выпадку, а затем и должную политическую оценку. Теперь же в совокупности «становился ясным истинный облик скрытого антисоветчика». Младшему лейтенанту Сурганову неотвратимо светила 58-я статья УК за антисоветскую пропаганду. Тут и сам Плевако не смог бы его спасти: разжалование, увольнение из рядов РККА, как минимум пять лет исправительных лагерей. Воистину, язык мой – враг мой.

И такая дребедень целый день, целый день... Создавалось впечатление – ложное, конечно, – что в батальонах, полках и дивизиях РККА только и делают, что пьянствуют, безобразничают, воруют, бездумно громят дорогую технику... Именно такой взгляд на армейские будни складывался, наверное, у любого военного юриста.

Несмотря на запрет вести дневники и личные блокноты, Иннокентий Иерархов, верный университетской привычке, всё же записывал главные события своей жизни, чувства и мысли в кожаную карманную книжицу – Галина подарила ее на день рождения. Записал и все ощущения, связанные с первым патрулированием.

ИЗ ДНЕВНИКА ИННОКЕНТИЯ ИЕРАРХОВА:

Я иду с пистолетом на поясе. Тяжелая кобура похлопывает по правому бедру, напоминая о себе неотвязно. Я впервые заступаю в офицерский патруль. Я впервые иду с оружием. Лейтенант в штабе дивизии достал из железного ящика пистолет ТТ, запасную обойму к нему и книгу выдачи оружия. Я оставил свою подпись. Боже, где я только не расписывался за свою жизнь!.. Как будто в прокатном пункте. Хорошая идея – пистолет напрокат.

Я открыл кобуру, но пистолет упорно не хотел туда влезать. Мешал ремешок, перегораживающий полость кобуры. Хорошо, что лейтенант закрывал ящик и не видел этих дилетантских усилий. Кстати, с какой стороны ее носят? Кажется, с правой... На снаряжении штамп – «Фабрика "Марксист"». Странное название для фабрики, выпускающей такую продукцию.

А вот так крадут патроны: набивают магазин пустыми гильзами, а сверху два боевых. Дежурный по штабу принимает магазины, не пересчитывая патроны и даже не вынимая их из кобуры. Есть два – и ладно. Шесть тупорылых пуль в моем кулаке уставились сквозь рукоять пистолета, словно рыбки в аквариуме. Пружина-лифт подаст их из кулака в ствол. Пальцы обнимают патроны, спрятанные в рукояти.

В гарнизонную комендатуру полагается приходить со своим табельным оружием. В комендатуре густо пахнет хлоркой и свежей краской. Топчан, обитый в ногах железом. Лубок на стене «Развод караулов». Катушка черных ниток. Аптечка, почему-то на дверце только

один красный полумесяц. Красный крест стерт. Схема патрульных маршрутов на карте города. Железный сейф размером с бабушкин буфет.

Двое арестованных стройбатовцев добровольно вызвались убирать коридор. Всё лучшее, чем в камерах сидеть...

Помощник коменданта выдал мне повязку «Патруль» без завязки. На какую руку ее надевать? На правую, левую?

За удостоверение начальника патруля пришлось еще раз расписаться.

«Удостоверение начальника патруля. Маршрут № 13 (ну конечно же, опять чертова дюжина!); комендатура, улица Ожешико, вокзал.

Уходить с маршрута КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Телефоны: УГК... Милиция... Госпиталь...

Начальник патруля обязан:

– принимать меры к прекращению нарушений воинской дисциплины и общественного порядка среди военнослужащих;

– проверять у военнослужащих документы, а в случае необходимости задерживать и направлять в Управление коменданта г. Гродно.

Комендант гарнизона подполковник Степанчиков».

*** * ***

О, сколько нарушений может усмотреть патрульное око в форменной одежде, казалось бы, такой единообразной! Вон хотя бы у тех трех лейтенантов: у одного кубари на петлицах пиленые, самодельные, у другого сапоги «вмятку» – в гармошку и козырек у фуражки обрезанный...

Пистолет на поясе обязывает меня застегнуть воротник собственной гимнастерки на все крючочки, и клапаны карманов – тоже, и чтобы подворотничок выступал на положенные три миллиметра – спичечную головку.

Но пистолет... Он не давал мне покоя. Я несу в кобуре на боку чьи-то шестнадцать жизней, точнее, чьи-то шестнадцать смертей. Сегодня я наделен особой властью вершить добро и справедливость, принимать на месте без долгих рассуждений решение, что есть зло и добро. И поскольку зло наказуемо иногда лишением жизни носителя зла, я должен стрелять «именем Родины», «именем Закона». Я буду сам выносить приговор и, возможно, тут же приводить его в исполнение. Вот так вот, и никак иначе!

Я вышел на перрон вокзала, и старшина с тремя красноармейцами испуганно козырнули мне. Меня приветствуют все лейтенанты и даже равнозначные мне капитаны... Я словно корабль с пушкой на борту. На боку...

Итак, я вооружен. Я могу сделать всё что угодно: войти в магазин и отобрать под дулом пистолета дневную выручку. Могу застрелить бандита, который сам попытается это сделать... Могу... Боже, что лезет в мою голову?! О чем я думаю?... Нет, я просто перебираю варианты того, что может натворить безвольный и к тому же порочный человек с пистолетом. Но я же не таков! Я же этого никогда не сделаю! Напротив, для того у меня и пистолет, чтобы я никому не позволил сделать что-нибудь подобное.

А что, если я скрытый параноик или псих, сойду в одночасье с ума? Я, например, могу прийти на телеграф, позвонить в Москву любимой женщине и застрелиться, дабы морально наказать ее за черствость, да так, чтобы она услышала этот выстрел за тысячу километров. Пистолет... Этот странный предмет запал мне в душу и взметнул осадок устоявшейся мути. Чего там только не было... Лучше не копаться в себе, когда на боку у тебя оружие. Впрочем, это чисто прокурорский подход.

На время обеда я отпустил своих патрульных в армейскую столовую, а сам отправился домой, благо гостиница-общежитие в ста метрах от столовой. Обедать не буду. Галя обещала заглянуть ко мне в эти часы, и я приготовил свое скромное жилище к ее приходу.

А ведь мы давно могли быть вместе, если бы она была более самостоятельной и умела хотя бы иногда перечесть воле родителей. Конечно, можно понять и ее папу с мамой: кому в наше время захочется отдать дочь замуж за человека, чей отец под следствием? Для ее отца, партийного работника, второго секретаря Краснопресненского райкома, это стало бы крахом карьеры, да и студентка юрфака долго бы не проучилась в МГУ. Это всё понятно. Но ведь всего через полгода моего отца освободили из следственного изолятора, с него сняли все обвинения, и он восстановлен в партии. Разве это срок – подождать всего шесть месяцев? Но ее тут же засватали, и она согласилась на уговоры родителей, вышла замуж за командира нашей замечательной Красной армии. Даже не посмотрела на то, что он старше ее на десять лет, что он вовсе не москвич, а из каких-то провинциальных Валучек и что он не дал ей толком закончить университет, пришлось перевестись на заочное отделение и уехать с ним в какую-то тьмутаракань... Все эти обиды и несутразности сами собой связались в одну цепочку, и во всякого, кто посмел бы бросить в нас камень, обвинить в прелюбодеянии (по-современному – в «морально-бытовом разложении»), я влепил бы эту обоим аргументов, как без промаха бил на стрельбище из пистолета ТТ.

Пистолет... Как изящна и элегантна эта машинка, почти медицинский инструмент для пресечения жизни, перфоратор сердечной сумки или черепной коробки. Почти та самая блестящая металлическая штучка, которой прокалывают палец, когда берут кровь. Только не сверкает никелем, а отликает вороненой сталью.

Ишь, как отлажен, продуман... Патроны с округлыми головками пуль – латунные капсулы смерти. Пули – пиллюли. Один шарик – одна смерть. Дьявольская гомеопатия. Пистолет – антипод вагины. Вагина рождает, а пистолет отражает, уничтожает, умерщвляет. Смертородный орган мужчины...

Невольно люблю эту дьявольскую вещицу. Как пригнана она по руке: ладонь обхватывает рукоять плотно, и все рельефы – впадинки, бугорки сжатой человеческой кисти – заполнены тяжелым грозным металлом. Он лежит в руке как влитой, каждый палец сразу находит себе место. Спусковой крючок выгнут точь-в-точь под подушечку указательного пальца. Как стремительно и хищно очерчено обрамление его ствола! Рифленая рубчатая рукоять. По стволу идет мелкая насечка, словно узор по змеиной спинке. Обе пластмассовые щеки украшены звездами. Три номера – на затворе, на основании и на рычажке предохранителя ИА 4548 и заводское клеймо, треугольник в круге. Почти масонский знак. Год сборки – 1939. Всё до смешного просто – пружина и трубка. Затвор, облегающий ствол, – сгусток человеческого хитроумия: его внутренние выступы, фигурные вырезы и пазы сложны и прихотливы, как извивы нейронов тех, кто их придумал. Жальце ударника сродни осиному.

Ах, как соблазнительно решить все проблемы бытия одним-единственным нажатием, как тянет побывать по ту сторону этого света. Побываем еще... Нелепо покупать билет на поезд, в котором ты уже едешь. Или перебегать в головной вагон, чтобы побыстрее приехать...

* * *

Часы, отпущенные патрульному наряду на обед, летели, как минуты. Неужели не придет? Он ждал Галину и учил на память васильевские строфы:

А улыбка – ведь такая малость!
Но хочу, чтоб вечно улыбалась,
До чего тогда ты хороша!

До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.
Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Всё в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой»
И шумит вослед за величавой:
«По земле красавица идет».
Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют...

Дверь Иннокентий не запирает, и Галина без стука вошла в номер. Единственное окно на улицу было зашторено, и в комнате стоял мягкий полумрак.

– Инок, я пришла...

Больше он не дал ей сказать ни слова. После затяжного, как парашютный прыжок, поцелуя он расстегнул платье на спине и помог высвободиться из него...

* * *

Красивый город Гродно, но после Москвы все равно провинция. Иногда Иерархову казалось, что он никогда уже не сможет выбраться отсюда и теперь до конца дней своих, то есть до конца срока службы, обречен на прозябание в этом военном суде дивизионного масштаба. От этой мысли хотелось напиться, как говорил его дед, до положения риз. «А как это – ризы положить?» – допытывался маленький Кеша у деда. «Это значит, напиться как библейский Ной, то есть ризы, одежды потерять. Грубо говоря, без порток валяться».

Напился бы, да с кем? В Гродно Иерархов с сослуживцами дружбы не свел. Жил он в старой гостинице, которая при поляках называлась «Кофе в постель» (Kawa do łóżka), а теперь, согласно духу времени, «Звездой». У гостиницы была непростая история. Она строилась как келарский корпус православного монастыря, который еще в прошлом веке перенесли на западный берег Немана, а бывшие кельи стали камерами в следственном изоляторе полицейского околотка. Но после 1920 года полицейский околоток отсюда съехал, изолятор продали в частные руки под гостиницу с игривым названием. Кофе в постель, то бишь в номера, и в самом деле приносила поутру местная «шоколадница» – милая кокетливая Клавдюша, ставшая к началу сороковых бабой Клавой. Она жила при гостинице (ныне офицерской общежитии), убирала в номерах, мыла коридор, туалет и окна и еще подрабатывала уборщицей в военном суде. К жильцу 11-го номера она относилась с большим пиететом и, пожалуй, только ему подавала по старой памяти кофе – приносила медный поднос с фирменной фарфоровой чашечкой (последней уцелевшей с прежних времен) и тарелку с хорошо поджаренным тостом. Иннокентию, конечно же, очень нравился этот обычай, и он при случае старался вручить бабе Клаве червонец. Верная каким-то своим правилам, она не сразу принимала чаевые, отказывалась наотрез, но в итоге деньги оказывались в кармане ее фартука.

Иерархов никуда не ходил и к себе никого не приглашал. Жил анахоретом. Запойно читал книги, благо на первом этаже гостиницы была неплохая библиотека с пятью полками русской классики. К тому же ему попался сборник стихов без обложки. На титуле надпись карандашом: «Павел Васильев. Нечаянная радость русской поэзии. Расстрелян в 1937 году в Лефортово».

Книжка была изъята при обыске у младшего лейтенанта Сурганова и приобщена к делу как образец вредной литературы поэта, осужденного Военной коллегией Верховного суда СССР.

И тут он вспомнил! Февраль 1937 года. Иерархов только начинал свою карьеру в Военной прокуратуре. Его первое следственное дело. И какое дело! Группа террористов готовила покушение на товарища Сталина. Среди них и молодой поэт-красавец Павел Николаевич Васильев, его сверстник – 1910 года рождения, уроженец города Зайсан Семипалатинской губернии, русский, женат, беспартийный, журналист, поэт-литератор.

Едва подследственный вошел в его кабинет, как в унылом лефортовском каземате повеяло степным раздольем, казачьей удалью и полным бесстрашием к тем черным тучам, которые собирались над его пышнокудрой головой. Отвечая на строгие вопросы, он слегка улыбался. Иерархов поглядывал то на строчки протокола, которые убористо вел его помощник – писарь-лейтенант, то на самого подследственного, чье открытое ясное лицо излучало невозмутимое спокойствие.

– Расскажите, как вы собирались уничтожить товарища Сталина?

– Очень просто! – иронично улыбался поэт. – Я хотел выкатить из Кремля Царь-пушку и шарахнуть по трибунам Мавзолея во время парада.

Это было явное издевательство над абсурдностью обвинения, да и над ним, военюристом 3-го ранга Иерарховым, который, как казалось Васильеву, задавал такие нелепые вопросы. Иннокентий хотел пропустить эту реплику мимо ушей, но писарь-лейтенант уже вписал «показание» в протокол допроса. Подследственному Васильеву взять бы да и не подписывать это идиотское признание, а он подписал все четыре страницы, да еще, как положено, на обороте. Через неделю Иерархова сменил другой, более опытный следователь. Тот быстро закончил столь простое дело «с чистосердечным признанием», которое, как известно, «царица доказательств».

15 июля 1937 года двадцатисемилетний поэт был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в принадлежности к террористической группе, якобы готовившей покушение на Сталина.

Его расстреляли в подвале Лефортовской тюрьмы на следующий день после приговора. Иерархов тогда учился на курсах Военно-юридической академии и ничего не знал о судьбе своего первого подследственного.

ОТВЕТ В КОНЦЕ ЗАДАЧНИКА

Останки Павла Васильева, «нечаянной радости русской поэзии», похоронили в общей могиле «невостребованных прахов» на новом кладбище Донского монастыря в Москве. Потом на Кунцевском кладбище Павлу Васильеву установили кенотаф рядом с могилой его жены Елены Вяловой-Васильевой.

В 1956 году он был посмертно реабилитирован всё той же Военной коллегией Верховного суда СССР. Реабилитирован, но не воскрешен...

Поэта достойно защищал Сергей Залыгин. Большую роль в восстановлении доброго имени, в собирании и подготовке к изданию разрозненного тогда наследия Васильева сыграли его вдова Елена Вялова-Васильева, поэты Павел Вячеславов, Сергей Поделков и Григорий Санников, на свой страх и риск собиравшие и хранившие произведения, в том числе неизданные.

Глава третья

ЧП на улице ожешко

Иерархов прочитал книжку Васильева всю – начал с первого стихотворения и уже не смог оторваться. Он не нашел в ней ничего антисоветского, подрывного, за что бы стоило расстрелять. Более того, он пришел в восторг от поэтического слога Васильева, его образности, его стиля. А главное, многие строки поэта отзывались, словно струны струнам. И каждая строка казалась о ней – о Галине...

Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.
Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ноготков люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор, и рассудительные речи...

В Московском университете умели прививать вкус к хорошей литературе, и Иерархов был одним из завсегдатаев литературной студии при филфаке. Одно время даже хотел перейти с юридического на филологический, чтобы изучать восточную поэзию, но так и не перевелся. «А перевелся бы, так не прозябал бы нынче в Гродно», – корил он себя теперь. Это было главной причиной его упаднического настроения, его каждодневного самоедства. И тут произошло нечто похожее на выброс протуберанца из глубин солнечного шара. Галина!

Кто бы мог подумать, что она здесь, в Гродно, более того, служит в том самом дивизионном суде, в который назначили и его?! Инок не сразу поверил глазам, когда увидел свою несостоявшуюся невесту, самую красивую девушку юрфака, свою первую и горькую любовь. Он вспыхнул, она вспыхнула, и вспышка эта не осталась незамеченной для всех присутствовавших. Впрочем, из «всех» были только секретарь суда Вероника Емышева да уборщица баба Клава, которой ни до чего не было дела, кроме чистоты и порядка в служебных помещениях. Другое дело Емышева – старая дева, чтобы не сказать старая судебная шушера, особа пренеприятная, завистливая, желчная, первый кандидат на скамью дворовых кумушек у подъезда. Уж от нее-то ничего не укрылось. А собственно, они ни от кого и не скрывали, что были знакомы раньше, что очень обрадовались этой встрече... Всё по-настоящему сокровенное осталось за стенами военного суда.

Галина была и мила, и пригожа, редкое сочетание кроткого нрава и истинной красоты. Она как бы стеснялась своей красоты, испытывала за нее неловкость. И это очень льстило мужчинам, почти каждый считал, что это именно он ввел красавицу в смущение, что это перед ним она опускает глаза под сенью длинных ресниц. Галина с каждым была одинаково приветлива, любезна, скромна, и это подкупало ее собеседников, поклонников, начальников... Но с ним, с Иерарховым, она была самой собой, не таила своей красоты, стремилась быть еще краше.

Она хранила его письма. И вот теперь – надо же такому быть! – они снова рядом, в одной упряжке, даром что в служебно-судебной, а не супружеско-семейной.

В тот же день они, выйдя вместе из здания военного суда, отправились побродить в речной низине Городничанки, в Швейцарский сад. Галина в тот вечер никуда не спешила: муж, как всегда, был в командировке, уехал в Белосток, дети под надежным доглядом Ванды.

Всё было почти так, как в день их первого робкого и страстного соития: май, Москва, Нескучный сад, облака цветущей сирени и еще каких-то кустистых цветов. Ее холодные пальцы в его горячей ладони. Они говорили ни о чем и шли неведомо куда, так казалось тогда... А пришли к дверям его квартиры на Пушкинской набережной. По великому счастью, родители в тот субботний вечер уехали на дачу, и у них была бездна времени друг для друга – почти сутки до воскресного полудня. Они оба предчувствовали, что их двухлетнее знакомство, дружба, первая любовь вот-вот перельется в новое качество, станет чем-то иным – очень взрослым, настоящим, восхитительным...

Возможно, всё это начиналось и продолжилось затем почти так же, как у многих друзей-сокурсников (Галина и Иннокентий чуть поотстали от них), но им казалось, что каждое деяние этих весенних сумерек – будь то совместно приготовленный ужин (яичница с колбасой), чаепитие на подоконнике, любование в отцовский бинокль на Москву-реку – всё было наполнено каким-то особенным, почти магическим смыслом. Всё это было предвестием тревожного чуда, предвосхищением новой грани жизни, их общей, совместной жизни, в которой никого, кроме них, не было и быть не должно. И она не отвела, как всегда, его руки во время затянувшихся поцелуев, когда они дерзко стали расстегивать молнию на спинке платья. И платье, синее в белый горошек, вдруг само собой, как бы нечаянно, словно никто этого не ожидал, упало к ее ногам, как падает в театре занавес... Вместе с платьем упал и флер ее неприступности.

А дальше... Дальше всё было смутно и горячечно, поспешно и страстно. Рано или поздно в объятиях всякой влюбленной пары наступает тот момент, когда мужская рука рискнет скользнуть вниз. Не размыкая губ в поцелуе, она позволила его пальцам ощутить раздвоенность ее лобка, а потом вдруг резко вывернулась из его цепких объятий.

– Ты уверен, что ты этого хочешь?!

– Да! – едва выдохнул он. И она в ответ с нежной укоризной:

– Сумасшедший!..

И всё, и дальше всё было очень по-взрослому.

И вот теперь они так же, как тогда из Нескучного сада, только теперь – из Швейцарского, сами собой ненароком пришли к массивной дубовой двери его отеля, Иннокентий нажал на бронзовую защелку в виде человеческой руки, сжимающей яйцо, и они вошли под низкий свод сумрачного коридора, прошли мимо стойки портье, который куда-то отлучился, и оказались перед его дверью с номером 11, оттиснутым на конской коже. И длинный ключ с затейливой бородкой бесшумно вошел в скважину замка, и дверь без скрипа отворилась и пропустила их в комнату, потому что все вещи вокруг них вступили в некий бессловесный заговор: теперь все они – и эта дверь с зеркалом на внутренней стороне, и бронзовая лампа-тюльпан над изголовьем постели, и сама постель, застланная синим бархатным покрывалом, – все они всячески потакали им на пути к сокровенному уединению. Ни один чужой, недобрый взгляд не заметил их прихода в бывшую келью-камеру, ставшую приютом Иерархова на безрадостной чужбине.

Всё свершилось с тем же душевным трепетом и без малейшего сожаления, как и в тот первый раз в доме на Пушкинской набережной. Как будто и не было ни семи лет разлуки, ни ее замужества, ни его возмужания на ниве военной юстиции.

Он хотел ее проводить.

– Не надо. Здесь недалеко. Я одна. Так будет лучше...

И ушла легкой беззвучной поступью.

...Дома все спали. Галина присела на край широкой детской кровати, где Оля и Эля спали вместе. Убрала под одеяла высунувшиеся ножки и долго сидела, любясь ими, ведя с ними безмолвный разговор: «Милые мои, не тревожьтесь, я вас никогда не оставлю, что бы ни произошло в моей жизни. Я всегда буду рядом с вами...»

Потом она ушла в ванную комнату, приняла душ. Вода была чуть теплая, летняя, и ей казалось, что она, обнаженная, стоит под июльским дождиком, от которого душа превращается в букет летних цветов, вбирающих в себя капли, слетевшие с неба...

* * *

Иерархов глянул на часы: пора было возвращаться в комендатуру. Дальнейшее патрулирование прошло благополучно, без происшествий и эксцессов. Еще немного, и он сдаст пистолет, вернется в свой номер, заварит кофейку покрепче и завалится с книжкой.

Они шли по улице Ожешко мимо здания университета. Смеркалось. И тут из-за афишной тумбы, что стояла у входа в храм знаний, выскочил высокий парень в студенческой фуражке. В вытянутых руках он держал старинный – едва ли не кремневый! – должно быть, очень тяжелый пистолет. Щелкнул взведенный курок, кремль высек искру, бабахнул оглушительный выстрел. У Пустельги слетела с головы кубанка, пробитая свинцовой пулей размером с желудь. Стрелок тут же кинулся заряжать свой пистоль заново, но Иерархов, выхватив ТТ, бросился к нему.

– Не стреляйте, товарищ капитан! – крикнул Пустельга и сбил с ног студента. – Ты в кого, падла, метил?! – Вцепился он в горло, замотанное бело-красным шарфом. – Ты же в меня, гад, целил!

– Не душить! Брать живым! – остановил его Иерархов.

Перекошенное лицо студента было страшноватым: правый глаз косил, рот хватал воздух, и, когда косой глаз сверкал пустым белком, а рот зиял щербатиной передних зубов, он и вовсе казался обезумевшим демоном. Налетчику стянули руки тренчиком и отвели в комендатуру. Капитан-танкист Семенов с удивлением рассматривал пистолет наполеоновских времен:

– Из какого музея стырил?

– Это пистолет моего деда.

– Фамилия, имя, отчество?

– Деда?

– Нет, твои.

– Бартош Гловацкий⁵.

– Зачем стрелял? На кого покушался?

Студент злобно сверкнул косым взглядом. В уголках губ запеклась пена.

– Никогда казакам не ходить по польской земле! – выдохнул он, затравленно озираясь.

– Это почему же? – спросил Иерархов.

– Слишком много зла принесли моему народу!

– Где оружие взял?

– Этот пистолет мне вручил сам пан Тадеуш.

– Какой еще Тадеуш?

– Косцюшко.

– А с Наполеоном, голубчик, вы, часом, не знакомы?

– Скоро будет второе пришествие Бонапарта, и он очистит Польшу от конфедератов и коллаборантов!

– Чего? Псих, что ли? – изумился помощник коменданта.

– Псих он и есть, – подтвердил Иерархов. – Его в психушку надо отправлять.

⁵ Бартош Гловацкий – польский крестьянин, участник восстания Костюшко 1794 года. Прославился в битве при селе Раславицы 4 апреля 1794 года, когда он захватил пушки русской армии и получил чин хорунжего краковских гренадеров. Бартош Гловацкий был смертельно ранен 6 июня 1794 года в сражении возле села Шекоцины. Его имя является одним из символов польской государственности.

– Отправим... – пообещал капитан Семенов и набрал номер. – Дежурный? Тут одного вашего клиента из комендатуры надо забрать... Да ваш, ваш он, не сомневайтесь! В патруль стрелял. Ему пистоль сам Наполеон выдал. Да нет, не бойтесь, оружие мы изъяли, в музей передадим. Приезжайте!

Иерархов не стал ждать приезда санитарной машины, сдал повязку, удостоверение патруля, попрощался с казаками и ушел в часть сдавать пистолет.

Он шагал по ночному городу, звонко отбивая шаг по торцовому камню. Шел, а в ушах еще стоял тот фыркающий звук, с каким мимо его виска пролетел свинцовый желудь. А ведь этот псих целил не в Пустельгу, а именно в него, Иерархова, как начальника патруля. Промаяхнулся, однако. А кто-то другой, может, и не промахнется. И тогда бы лежал сейчас военюрист 2-го ранга в морге гарнизонного госпиталя...

Иннокентий тряхнул головой, чтобы переключиться на другие мысли. Но и другие мысли потекли в том же направлении: вот вцепил бы этот Бартош пулю в лоб – и всё. И ничего бы, кроме московского чемодана, от военюриста 2-го ранга Иерархова не осталось. Ладно ничего – никого бы не осталось, кто продолжил бы древний, со времен Ивана Грозного, московитянский род. Ни сына, ни дочери. А ведь давно уже пора обзавестись потомством.

Домой он вернулся за полночь. Луна горела тем же золотистым огнем, что и уличные фонари, и городские окна. Открывая дверь, Иннокентий пришел к выводу, что вполне созрел для женитьбы. Но на ком? Галину он упустил, она замужем, у нее свои дети. Эта кандидатура сразу отпадает. Емышева? Да она хоть сейчас, только позови. Но не приведи господи, такая стервозина. Кто еще? В Москве осталась Катя, дочь маминой подруги, милая девушка, но душа к ней не лежит.

Лег, но уснуть не смог. В ушах всё звучало фыркание старинной пули, пролетевшей мимо виска. Чтобы расслабиться, Иннокентий снял с полки первую попавшуюся книжку. Это оказался томик Достоевского – «Идиот». Открыл наугад и попал на монолог князя Мышкина о смертной казни:

«Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, всё это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Убивать за убийство несоизмеренно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоизмеренно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которой умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избежешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще всё будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: “Ступай, тебя прощают”. Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!»

И тут Иннокентий вспомнил про своего первого подследственного, этого кудрявого поэта Павла Васильева. Ведь тот целые сутки жил, зная, что истекают последние часы его молодой жизни. Какой ужас его при этом охватывал? Не расскажет.

* * *

Утром он увидел на стенде маленькую афишку: «Преподавательница персидского языка приглашает учеников. Возможны частные визиты и групповые занятия. Оплата по договоренности. Телефон...» Вверху в овале портрет преподавательницы, довольно молодое милое лицо. Образ Иерархову понравился, и он позвонил. Певучий голос спросил:

– Вы всерьез решили заниматься персидским языком? Это трудный язык и редкий. Вам нужен разговорный или литературный язык?

– Разговорный.

Голос преподавательницы тоже понравился.

Заседаний военного суда в тот день не было. В комнате для судей они пили кофе с Галиной, и Иннокентий почти наизусть прочитал ей слова князя Мышкина о смертной казни.

– Представляешь, вчера меня чуть не пристрелил какой-то маньяк. И если бы он в меня попал, я бы ни о чем не пожалел. Не успел бы пожалеть. Но убийце пришлось бы намного горше, если бы ему сказали, что через час-другой-третий его расстреляют. Ведь это такая смертная мука – ждать своего последнего часа. «Вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно...» Жуть!

– Странно слышать такие слова от прокурора, да еще военного. – Галина потянулась за папиросами. Обычно она не курила, но в комнате судей позволяла себе подымить. Ей казалось, что так, в неспешных кольцах табачного дыма, легче принимать решения. – И вообще, перестань читать Достоевского. Это совершенно не наш писатель, не советский образ мысли. Это дикое упадничество...

– Извини, дорогая, но никакой профессиональный юрист не смог написать «Преступление и наказание».

– Гнилое интеллигентское самокопательство! Если следовать всем его мыслям, то судебные процессы пришлось бы вообще упразднить. Потому что, видите ли, убийцы тоже люди, и они страдают больше, чем их жертвы... И вообще, перестань меня разлагать достоевщиной! Я потом работать не смогу.

Иерархов вспылел, и разговор закончился размолвкой...

* * *

В тот же день в назначенный час он пришел на встречу в двухэтажный домик из светлого желтого кирпича во дворе П-образного доходного дома. Почти весь домик занимала частная музыкальная школа. Мария Табуранская встретила будущего ученика на пороге школы, одарила его приветливой улыбкой и провела в класс для сольфеджио. Иерархов шел за ней, завороженный славянской красотой этой женщины, ее статью, походкой и голосом. И – о радость – на ее руке он не увидел обручального кольца! Она села за преподавательский столик, Иннокентий устроился напротив и по студенческой привычке приготовился слушать и записывать.

– Меня зовут Мария Станиславовна, я смогу давать вам не более двух уроков в неделю – во вторник и пятницу, если вас это устроит.

– Устроит! – охотно подтвердил ученик.

– Вы сделали хороший выбор. Персидский – ведущий язык иранской группы индоевропейской семьи языков. У него многовековая литературная традиция, на персидском написаны шедевры мировой литературы, на нем писал великий Омар Хайям. Послушайте, как он звучит:

Gar yek nafas-at ze zendegāni gozarad,
Magzār ke joz be šādmāni gozarad.

Иерархов жадно вслушивался в слова, которые, казалось, жили в его душе сами по себе, но не находили выхода. Он любил Хайяма, знал его, разумеется, в русских переводах. И вдруг эта женщина, словно медиум, связала его напрямую с великим мудрецом и поэтом. Он вглядывался в ее лицо. Красивое, с едва уловимыми азиатскими чертами – то ли в скулах, то ли в разрезе глаз. Ее лицо умело мгновенно становиться строгим и столь же быстро расцветать в легкой полуулыбке. Угольно-черными были и челка, и ресница, и брови, и только губы пылали кармином. Он почти не слушал – вглядывался в нее.

Вот длинные ресницы взметнулись к соболиным бровям. Чуть курносый носик и яркие губы с чувственным вывертом. Тонкую высокую шею охватывала чуть заметная нить жемчужного бисера...

Иерархов нетерпеливо дожидался ближайшей пятницы.

* * *

Майор Глазунов провел бессонную ночь. Только что из-за кордона вернулся его человек, житель приграничной деревушки Мацей Шалюта. Местный бондарь и бывалый контрабандист, он ходил на ту сторону не первый год, таскал на обмен сахар и гречку, а обратно приносил польскую «жубровку»⁶, шоколад, ароматное мыло, женское белье... Чего только не уносил, чего только не приносил, пока однажды его не задержали советские пограничники и не посадили под стражу. Вот тут-то и свел с ним полезное знакомство начальник разведки 85-й дивизии. Мацей сразу же согласился на сотрудничество и, похоже, облегчил душу, поделившись накопившимися сведениями о немецком присутствии на западном берегу Немана. В свои сорок лет он был, что называется, лось – и по комплекции, и по проходимости, и по осторожности. От его маленьких глаз, прикрытых густыми седеющими бровями, не укрылись ни позиции дальнобойных орудий, ни палатки лесных лагерей, в которых жили солдаты вермахта, ожидая скорых больших перемен, ни колонны грузовиков, шедших только в одну сторону – к границе, к Лиду и Сувалкам.

– Герман рыхтуецца да вайны, – заключал он. – Будзьце пільныя!

– Да мы и сами это понимаем. Нам точные сведения нужны, где у них танки стоят...

– Танков я пакуль не бачил. Напэвна не прыйшлі яшчэ. Можа, пазней будуць.

Сегодня, этой ночью, пришли, наконец, и танки. Шалюта насчитал штук двадцать, они съезжали с аппарелей на станции Сувалки и укрывались в перелеске недалеко от Августовского шоссе.

– Что за танки?

– Ды ктой ж іх разбярэ? Жалезныя...

– С пушками или с пулеметами?

– Не, куляметов не бачил. С гарматами. С пушками, пушками...

Глазунов показал ему картинку в справочнике.

– Такой?

– Вось таки! Башня акурат по углам подрублена, и пушечка вбок сдвинута.

– Т-II, значит...

– Дык вам из погребя виднее, чем нам з гарышча.

– Что такое гарышча?

– Чардак по-вашему.

– Спасибо, буду знать.

⁶ Зубровка – водка, настоянная на ароматических травах Беловежской Пути.

Мацей довольно точно показал места сосредоточения танков, это сделало бы честь любому разведчику. Глазунов подарил мужику добрый пластунский нож, дал две сотенные бумажки и отправил с миром в родную хату. Не теряя ни минуты, написал обстоятельное донесение насчет прибытия немецких танков, указав их тип, что делало сводку весьма ценной.

Шалюта прошел кордон под утро, и беседа состоялась, когда уже хорошо рассвело. Майор завесил окно армейским одеялом и рухнул на железную койку, застеленную одним тюфяком, накрылся шинелью.

Снилась Монголия. Она снилась ему нередко, в этот раз во сне была юрта, пустыня, слегка вспученная на горизонте сопками, гимнастерка, выбеленная беспощадным солнцем, белые верблюжьи кости, разбросанные орлами-курганниками, и старец, издали похожий на Будду, а вблизи – на художника Рериха. И Глазунов понимает, что Рерих – это его коллега-разведчик, а может быть, даже и его агент, который, как Мацей Шалюта, вернулся из другой страны, только восточной, то ли с Гималаев, то ли с Тибета, и хочет сообщить ему великую тайну Востока. Вот он силится что-то сказать, однако после первых же слов исчезает, обращаясь в зыбкое морево. Но очень важно вспомнить те первые слова, которые он успел сказать. В них вся соль, вся суть...

Глазунов просыпается, пытается оживить сон. Во сне иногда совершаются открытия, и настоящий разведчик никогда не станет пренебрегать информацией из подсознания. Он достал из полевой сумки карманный томик стихов Басё. Раскрыл его наугад – может быть, он подскажет?

Листья плюща...
Отчего их дымный пурпур
О былом говорит?

Не об этом ли говорил ему Рерих? Или об этом?

Ни луны, ни цветов.
А он и не ждет их. Он пьет,
Одиноким, вино.

Нет, не вспомнить... Майор посмотрел на часы – пора возвращаться в Гродно. И пить свое вино.

В Гродно его ждал сюрприз. Помощник-оператор положил перед ним местную газету, в разделе объявлений был напечатан условный текст для заброшенных из-за кордона диверсионных групп: «Ветеринарный врач приобретет копытный нож, обечки для копыт, щипцы для кастрации, юхотные ножи». Всё это означало «начать действовать по-боевому». Тайну этого условного сигнала открыл Глазунову самый ценный его закордонный агент из Сувалок – Самусь.

Глава четвертая

Карбышев: «пехоту надо осаперить»

Куда отвиним строй твердынь? За Буг?..
Александр Пушкин

В ту командировку, в Гродно и Белосток, генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев собирался с тягостным чувством, будто уезжал на очередную свою войну. Войн в его жизни хватало – и Русско-японская, и Германская, и Гражданская, и Финская... Теперь вот дамокловым мечом нависала война с Германией, и в неотвратимости ее не было сомнений. Печалило то, что он давно израсходовал запас счастливых случайностей на предыдущих войнах. Господь его столько раз миловал, спасая от верной смерти, что очередное испытание судьбы наверняка провалится, ибо ресурс везения полностью исчерпан.

Перед тем как взять чемодан, он долго стоял перед образом Николая Чудотворца и, как с давних, юнкерских еще, времен, молил его о заступничестве в дальней дороге: «Спутешествуй мне, святой отче, из града Москвы в град Гродно и не оставь мя без призора и помощи твоей на всем протяжении пути моего, яко благ и человеколюбец».

Может ли советский генерал верить в Бога? Может, если он прошел четыре войны, ранения, госпиталь, прошел через все чистки и проверки... Слава богу, ни в штабах, ни в академии никто не приставал к нему с вопросом о вере, не тщились сделать из него материалиста. Даже самые отъявленные богоборцы, взглянув в лицо генерала, не пытались удачи на ниве атеизма, не лезли в душу. Понимали: бесполезно.

Но сейчас его больше всего угнетало то, что «укрепленные» районы вдоль новой границы, которые он едет инспектировать, пока ничем не укреплены, и завершить это огромное приграничное строительство, которое по масштабам своим – от моря до моря – в несколько раз превышает Великую Китайскую стену, уже не получится.

«Уже не успеем, – терзал себя этой мыслью Карбышев, несмотря на все успокоительные заверения центральных газет. – Не успеем...» Он чувствовал это тем самым шестым чувством, которое с годами вырабатывается у бывалых фронтовиков.

Да, не успеем, несмотря на небывалый масштаб стройки, развернутой от берегов Балтийского моря до Черного. Железобетонная «засечная черта» УРов должна была отгородить весь запад СССР от любого вражеского вторжения. С весны сорок первого на великую военную стройку были брошены десятки тысяч людей: само собой, батальоны военных строителей, а к ним в помощь изъяли из всех дивизий и корпусов саперные батальоны, а затем призвали на стройку запасников, а затем мобилизовали и местных жителей с лошадьми и подводами. Сотни кубометров бетона в день укладывали в котлованы будущих дотов саперы, перекрывая нормативы Днепрогэса и других великих строек социализма. Железобетонные бункеры росли со скоростью грибов в теплый дождь, но, кроме бетонщиков, должны были выдерживать такой же бешеный темп и те, кому поручили оборудовать эти полуподземные крепости бронезащитой амбразур и дверей, установить орудия и пулеметы особой конструкции, фильтровентиляционные системы, смонтировать электрокабели и водопроводные трубы... И вот тут-то шли задержки и сбои. Запоздывали с доставкой цемента и металла, труб и кабелей, а особенно технической документации. Промышленность, субподрядчики не успевали поставлять то, что в таких объемах и в такие сроки требовал фронт работ. Пока еще фронт работ, а не боевых действий.

СПРАВКА ИСТОРИКА

Укрепрайоны начали строить в СССР с 1929 года. По проекту каждый из них должен простираться на 80—120 километров и состоять из предполья глубиной 10–12 километров

(полоса прикрытия с полевыми укреплениями и заграждениями). Главная полоса обороны составляла 2–4 километра в глубину, а затем в 15–20 километрах от переднего края шла тыловая оборонительная полоса. Главная полоса обороны оборудовалась долговременными батальонными районами обороны, а с 1939 года – долговременными узлами обороны шириной по фронту 6–10 километров и глубиной 5–10 километров, расположенными с промежутками в 5–8 километров. Тыловую оборонительную полосу намечалось оборудовать сооружениями полевой фортификации. На западных границах укрепрайоны были сооружены на важнейших, наиболее опасных направлениях вероятного вторжения противника.

Костяк инженерного оборудования главной полосы обороны составляли железобетонные фортификационные огневые сооружения, которые занимали специально обученные гарнизоны.

Предполагалось, что в угрожаемый период на линии приграничных укрепленных районов развернутся полевые войска, образуя совместно с гарнизоном укрепрайона первый эшелон, прикрывающий развертывание основных вооруженных сил. Со вступлением полевых войск в укрепрайон его долговременные фортификационные сооружения должны быть дополнены полевыми укреплениями и заграждениями.

* * *

Дмитрий Михайлович прощался с домочадцами с наигранной беспечностью, мол, скоро вернусь и привезу настоящего белорусского сала. А на душе скребли кошки: кто знает, может быть, в последний раз видел жену и дочь, и эту прихожую, и родной порог... С горьким чувством он отправился на Белорусский вокзал.

Стоял девятый день душного московского июня. Провожали его друзья – генерал-майор Сочилов вместе с супругой. Потом подоспел и попутчик до Минска – помощник командующего Западным округом по строительству укрепрайонов генерал-майор Михайлин. Прибежал, задыхаясь, к самому отходу.

– Уф-ф, успел!

Вагон был международного класса: двухместные купе, мягкие диваны, столик с лампой под красным абажуром, зеркала над спинками диванов, бархатные шторы с золочеными кистями...

Отдышавшись, Иван Михайлин выставил на столик бутылку коньяка, пять звездочек точно соответствовали званию «генерал армии». Проводник принес стаканы.

– Голубчик, коньяк стаканами не глушат! – укорил его Карбышев.

– Виноват, товарищ генерал! – сказал проводник и принес два бокала, чем еще раз подтвердил международный статус вагона.

– Чай, кофе? – осведомился он.

– Принеси-ка, братец, кофейку! – попросил Михайлин. – У нас на фронте ротный был, очень благородных кровей, так тот кофе только под коньяк пил. Или коньяк под кофе.

– Откуда ж коньяк на фронте?

– У него для этой цели заветная баклажка была, к ней и прикладывался. Иногда и нас, взводных, приобщал.

– На каких же ты фронтах «ура» кричал, Прокофьич? – спросил Карбышев, добавляя в кофе коньяк.

– Да здесь же и кричал, в Белоруссии⁷. Под городом Двинском, в районе озера Дрисвяты. Это на границе с Литвой. Ох, места красивейшие! Рыбные! Жаль, что наших объектов там нет, а то бы съездили. Это ж Браславские озера. А в них угри водятся. А уха из угрей – песня!

⁷ И.П. Михайлин принимал участие в боях с немцами возле города Двинска, у местечка Анисимовичи. Проявлял чудеса

Он пролистал меню вагона-ресторана:

– Н-да... В ресторанах такого не попробуешь.

Карбышев оторвал глаза от ресторанного прейскуранта, глянул на своего попутчика, и вдруг с одежного крючка слетела на пол михайлинская фуражка. Дмитрий Михайлович вздрогнул: по старой казачьей примете упавшая наземь шапка предвещает смерть владельца в ближайшем бою. Он и сам не раз убеждался в верности этой приметы и в Японскую, и в Германскую. Но он тут же отогнал это мрачное видение и постарался развеять его: фуражка, конечно, не папаха, да и боев как бы не предвиделось. Но всё же, но всё же...

Разговор вот-вот должен был перейти на проблемы строительства УРов, но толковать об этом, в сотый раз перечислять одни и те же беды не хотелось. Карбышев вышел покурить. В коридоре неподалеку от его купе стояла светловолосая дама в высоко опоясанной юбке цвета гелиотропа. Легкая шемизетка из белого газа не скрывала благородных линий плеч, шеи, груди. Дмитрий Михайлович даже закашлялся от неожиданности. Дама пристально смотрела в темное окно, будто что-то могла высмотреть в сумраке почти наступившей уже ночи. Нет, право, такие красавицы могли путешествовать только в вагонах международного класса!

Он заговорил с ней. Дама ответила по-польски, но речь ее журчала так быстро, что Дмитрий Михайлович почти ничего не понял. Тогда он обратился к ней на французском и получил ответ на более понятном ему языке. Но попутчице французский давался с трудом, и она неожиданно перешла на русский. Разговор сразу же потек легко и непринужденно. Кто она такая? Ясно одно – из «бывших». Дворянка? Графиня? Баронесса?

Но Карбышев ошибался: еще неделю назад «благородная дама» была обряжена в блузу и юбку из чертовой кожи и таскала шпалы в креозотный цех шпалопропиточного завода. Неделю назад она была поселенкой, сосланной в Омск. Поздней осенью 1939 года ее вывезли из родного Гродно как социально-вредный элемент и отправили в Западную Сибирь. Если бы Карбышев спросил, за что ей выпала такая невзгода, в ответ Марии Табуранской он поверил бы с трудом. Но всё было именно так, как было.

Предыстория ее сибиряды уходила в начало тридцатых годов, когда Гродно еще был поветовым городом в составе Белостокского воеводства. Жили там на Виленской улице две сестры-близняшки, две красавицы, выпускницы гродненской женской гимназии Мария и Янина. Мария была старше Янины на четверть часа и очень этим гордилась. В девицах сестры не засиделись: старшую увлек капитан уланского полка Табуранский, а младшая вышла замуж за польского военного атташе в Риме, писателя Людвика Морштынова.

В 1933 году Польша отмечала две знаменательные даты – 250 лет победы христианского войска над турками под Веной и 70 лет Январского восстания против царизма. Варшавский монетный двор объявил конкурс на создание проекта памятных монет. Художник-медальер, друг Морштынова, тайно влюбленный в его красавицу-жену, отобразил профиль Янины на монетах в три и пять злотых. Злотые ушли в тираж, и все решили, что художник увековечил королеву Ядвигу (кому бы пришла в голову мысль, что эта жена приятеля?!). Как бы там ни было, обе серебряные монеты были в ходу до краха Польши в войне 1939 года. Мария к тому времени похоронила своего мужа (улан погиб в боях под Кроянтами) и теперь жила с мамой, хозяйкой шляпной мастерской в Гродно. И тут в органы НКВД поступил донос: это именно она, Мария, изображена на серебряных монетах, а значит, является женой польского военного атташе в Риме. И хотя ничего преступного, антисоветского в том не было, всё же «компетентные органы» сочли Марию социально-вредным элементом и депортировали ее в Западную Сибирь.

храбрости, поэтому быстро рос в званиях: рядовой, ефрейтор, унтер-офицер, старший унтер-офицер, был командиром взвода. За храбрость награжден двумя Георгиевскими крестами. В марте 1917 года вступил в военную организацию большевиков, возглавил солдатский полковой комитет.

Мама, пани Ванда, целый год ходила по разным кабинетам, показывала портреты близняшек, объясняла, что на монете Янина, и та сейчас живет в Варшаве, и что Мария тут ни при чем. Ходила в костел и отдала ксендзу все, какие у нее были, серебряные монеты в три и пять злотых и еще кое-что... Костел помог или же снисходительные начальники разных контор, но только выхлопотала Ванда своей старшенькой разрешение вернуться из ссылки в родной город. Мария попросила выслать ей пару своих костюмов и денег на дорогу. Через неделю она всё получила, добралась до Москвы, и уж там отвела душу в женском отделении Сандуновских бань: парикмахерская, маникюр, педикюр... Через три часа из Сандунов вышла благородная дама, светская львица, кто угодно, но только не подносчица шпал из креозотного цеха. Правда, на пальцах остались химические ожоги – пятна от креозота, избавиться от них не помогли ни березовый бальзам, ни филодермин. Пришлось надеть черные нитяные перчатки до локтя.

Она сделала всё, чтобы вытравить из памяти эти полтора года омской ссылки. Ничто не сломило ее. Мария шествовала по Москве с гордо поднятой головой, благоухая французским парфюмом «Адорабль». Там, под Омском, работницы жили в бараках, сложенных из шпал, и запах креозота пропитал не только все ее вещи, но, казалось, и кожу, и корни волос, всё тело до мозга костей. В московском Торгсине она приобрела флакончик «Адорабля» и теперь наслаждалась нежным ароматом альпийской свежести. Она отобедала в «Арагви» – немного, но вкусно, стараясь не вспоминать и не сравнивать суп с профитролями с той соевой баландой, которой кормили в заводской столовой. На последние деньги взяла билет в вагон международного класса.

Теперь Мария со смехом рассказывала своему сановному попутчику о том, как она, актриса кино, снималась в фильме на производственную тему, как входила в роль работницы на шпалопропиточном заводе. Карбышев тоже улыбался нелепости творческой задачи, которую поставил Марии режиссер. Ну какая из такой мадонны шпалопропитчица?! Как бы он удивился, узнав, что Мария Табуранская не только выполняла свою норму по доставке шпал в цех, но и перевыполняла ее, за что получала допитание – лишний черпак каши и крохотный кубик маргарина.

– А знаете, креозот используется еще и как лекарство.

– Не может быть, такая едкая гадость!

– Я не врач, но первым браком был женат на медичке, она рассказывала про ингаляции креозота при лечении туберкулеза. Креозот может снимать зубную боль, его до сих пор используют в составе некоторых бронхиальных лекарств.

Их общение нечаянно прервал генерал Михайлин. Он выглянул в коридор и очень удивился, увидев товарища в компании с прекрасной дамой.

– Михалыч, приглашай леди к нашему столу-шалашу!

– Нет-нет, спасибо! В другой раз! – всполошилась Мария и удалилась в свое купе. Михайлин был уже хорош, и допивать с ним коньяк Карбышев не стал. Однако пришлось выслушать сбивчивую исповедь своего попутчика – коньяк сделал свое дело. И тут выяснилось, что в двадцатые годы Михайлин со своим полком принимал участие в обуздании восставших крестьян Ковровского уезда Владимирской губернии. Усмирал их, поднявшихся против произвола советских чиновников, как это водилось в те времена, весьма жестоко: пулеметами и орудейными залпами. Теперь Иван Прокофьевич горестно недоумевал:

– Михалыч, ну какие там, в деревнях, были эсеры и белогвардейцы?! Обычное мужичье, как и мои деды-прадеды. А я по ним шрапнелью, шрапнелью... Чего они поднялись-то против советской власти? Ведь она им землю дала, а они, твари неблагодарные... И я тварь неблагодарная – шрапнелью, шрапнелью...

Карбышев с трудом уложил его спать, убрал почти допитую бутылку.

Дорожная ночь состояла из темноты, грохота и резких толчков. В дверном зеркале мельтешила игра залетного света. Под полом вагона бесновалась, стенала, металась колесованная

дорога. Шальной ночной свет, брызнув в окна, быстро исчезал в зеркалах в дурной бесконечности взаимоотражений.

Не спалось. Исповедь Михайлина растревожила душу. Ему, генералу Карбышеву, всеми признанному и всеми уважаемому, тоже было в чем покаяться. Вставала перед ним помянутая всеу Алиса, первая жена... Она наложила на себя руки в Бресте, и теперь имя города отдавалось острой болью, как укол в сердце. А еще давил душу тяжкий грех подрыва столетнего храма, поставленного в память русских воинов, одолевших Наполеона.

В Орше вагон остановился вровень со встречным паровозом. Алые отблески топки трепетали на блестящих рельсах. Мимо прошагал вагонный осмотрщик с тяжелым гаечным ключом на ремне.

Карбышев любил железную дорогу, слава богу, поездил по стальным колеям не меньше, чем иной машинист, от Владивостока до Бреста, от Питера до Севастополя, а еще были визиты в родной Омск и в неродной Перемышль... Да разве все перечислишь, вспомнишь, упомянешь?..

В Минске перед выходом на перрон Мария церемонно распрощалась со своим галантным попутчиком. Она подарила Карбышеву на прощанье пятизловую монету со «своим» профилем, а вместе с ней и визитку, сохранившуюся от лучших времен. На ней тоже был изображен ее профиль, переснятый с монеты.

– Окажетесь в Гродно, мы с мамой будем рады видеть у нас на обеде, на ужине и даже на завтраке. Мы живем в самом центре, недалеко от Фарного костела.

Он поцеловал ей руку и пообещал заглянуть при случае на огонек. Мария уехала домой обычным пассажирским поездом, а Карбышев должен был задержаться в Минске. Дмитрий Михайлович с юнкерских времен привлекал внимание женщин, нравился им, знал за собой такое свойство, вот и в этот раз ему было лестно, что красавица-актриса расположилась к нему всей душой.

В номере Дмитрий Михайлович написал письмо жене и дочери:

«Ну вот я и в Минске. Ехал сюда с помощником командующего войсками генералом Михайлиным в международном вагоне со всеми удобствами.

На вокзале меня встретил с рапортом специально высланный адъютант. Я вначале не понял, к кому он обращается, и показываю на Михайлина. Михайлин говорит, что он рапортует мне.

Поместили меня в лучшей гостинице, в лучшем номере: две огромные комнаты (спальня и кабинет), ванна и прочее... Прямо повезло. Сейчас сижу в кабинете и пишу вам письмо. Вид у меня, как у Льва Толстого, когда он писал “Анну Каренину”, очень серьезный.

Утром в вагоне-ресторане выпил кофе, скоро надо обедать. Жду вызова от командующего войсками. Хочу вам сейчас послать телеграмму и написать детям.

Ну, Лялюшка, сейчас 14 часов 9 июня. Ты, вероятно, страдаешь на экзамене. Я усердно о тебе думаю, притом так настойчиво, что пятерка обеспечена. Адрес свой я вам сообщу телеграммой, как только узнаю о своей дальнейшей судьбе. Вероятно, из Минска я скоро уеду, но куда, пока еще написать не могу. Одним словом, связь не потеряю и по возможности буду писать ежедневно, хотя твердо не обещаю. Не знаю, как позволит время и место.

Мать, я забыл капюшон от накидки. Если будет okazия, я тебе напишу, и ты мне его пришли. Здесь немного теплее, чем в Москве: солнышко и погода походит на летнюю.

Я постригся, помылся, подшил чистый воротничок, начистил сапоги – одним словом, всё в порядке. Кругом зеркала, а там ходит какой-то молодой симпатичный генерал. Как бы я хотел быть на его месте!

Лялюшка, похвали меня: я взял с собой “Краткий курс истории ВКП(б)” и сейчас буду продолжать конспектировать.

Как мне хочется поскорее поехать в поле, на ветерок, на солнышко, на свежий воздух!
Надоело сидеть в кабинете. Пишите, мои детки, адрес я вам телеграфирую дополнительно.
Крепко всех целую, ваш папа».

Глава пятая

В узких улочках гродно

Карбышев приехал в Минск в понедельник 9 июня 1941 года и, оставив вещи в гостинице, отправился в штаб округа. Генерал армии Павлов принял его вне очереди. Принял по обычаю своему настороженно, как принимал всех высокопоставленных лиц из Москвы, с показным радушием. Несмотря на то, что звезд в петлицах у Павлова было на две больше, он всё же не забывал, что по «императорскому» счету он всего-навсего унтер, а Карбышев – подполковник. Вольно или невольно (второе скорее) он всегда соотносил своих сослуживцев по дореволюционным чинам. К тому же московский визитер был еще и профессор, научное светило. Павлов хоть и недолюбливал ученых в генеральских регалиях, полагая, что война и наука – две разные стези, посмеивался в душе над тем же Голубцовым, доцентом, назначенным Москвой командовать 10-й армией, но в Карбышеве видел достойное сочетание ученого и военного практика. Вот и сейчас Карбышев без лишних слов поделился с ним своей оперативно-тактической идеей. Он подвел Павлова к большой карте, занимавшей полстены, и обратил внимание на Августовский канал.

Судоходный канал соединял Неман и Вислу через реки Бебжу и Черную Ганьчу и давал возможность выхода к Данцигу и далее в Балтийское море. Построенный почти век назад, к 1939 году он утратил всякую экономическую и военную роль. Поляки использовали его как туристическую трассу, но теперь, в предгрозовое время, трансграничный канал обретал военное значение. И дело даже не в том, что он представлял хорошую водную преграду на пути танков и пехоты, к тому же усиленную дотами вдоль русла, это Павлов и сам прекрасно знал. Но Карбышев предложил ему взглянуть на шедевр водно-инженерного искусства другими глазами.

– Августовский канал – это пока никем не учтенная трасса, по которой можно перебрасывать войска вглубь Германии. В случае нашего стратегического наступления по каналу могут двинуться на запад танкодесантные баржи и даже сами плавающие танки. Шлюзовая система вполне позволяет их пропускать.

Такого поворота мысли Павлов никак не ожидал, но идея ему понравилась, он даже прикинул, что на барже могла бы и тридцатитонная тридцатьчетверка разместиться. А это уже посерьезнее, чем пулеметные «плавунцы» Т-38, которые Павлов, будучи начальником Автобронетанкового управления РККА, испытывал на полигонах под личным доглядом, и испытывал жестко. Идея Карбышева ему понравилась. Если подготовить такой бросок под покровом тайны, а потом ночью двинуться вперед, то в тылу у противника окажется добрый танковый батальон вместе с пехотным десантом. А если наступление пойдет успешно, то и подкрепление можно перебрасывать. Дело лишь в достаточном количестве плавсредств, то есть танкодесантных барж. Баржи есть в Слониме... А что, если перегнать в Неман корабли Пинской флотилии? Как это сделать? Можно ли? Нужно строить новые баржи...

Оба не на шутку увлеклись новой идеей. Но все-таки Карбышев прибыл не за этим. УРы! Как обстоит дело с возведением сухопутных железобетонных эскадр и флотилий?

Павлов вызвал в кабинет начальника инженерного управления генерал-майора Петра Васильева, чтобы тот ознакомил Карбышева с ходом стройки укрепленных районов. Васильев не стал ничего приукрашивать и рассказал всё как есть. Виниться ему было не в чем – все проблемы шли от контрагентов, от промышленности, от разработчиков. Он показал кипу запросов и требований, но это никак не улучшало общую картину.

Карбышев знал, что строительство УРов отстает от плановых показателей, но не ожидал, что оно *так* отстает! А ведь к работам ежедневно привлекалось почти сто сорок тысяч человек. Вконец расстроенный, генерал пожелал немедленно отбыть в Гродно, а затем в Осовец,

в Замбрув, в Ломжу. Заскочив в гостиницу за чемоданом, тут же отправился на вокзал. Павлов предложил ему самолет, но это был одноместный биплан, а с Карбышевым должны были следовать и Михайлин, и Васильев, поэтому все втроем сели в поезд.

Черный паровоз с подкопченной красной звездой на груди подкатил, сопя, чухая, паря, к багажному вагону, громко толкнул его истертыми буферами, сцепился, рывкнул коротким сильным басом и покатыл состав на северо-запад.

Карбышев стоял у окна и смотрел на закат. Солнце несло вровень с вагоном – низкое, красное, словно шаровая молния. Сияющий огненный шар, проносясь, задевал за коньки крыш, за трубы, какие-то вышки, и было не по себе: вот-вот он, этот алый сгусток молниеподобной силы, взорвется, рванет, разнесет всё на куски... Но вскоре солнце потемнело, как бы поостыло, и вот уже не шар, а диск, да просто красное колесо мчалось по горизонту. Порой оно увязало в полоске дальнего леса по самую ступицу, потом выскакивало и снова катилось со скоростью паровозных колес по самой кромке горизонта. Через несколько закатных минут оно просело так глубоко, что от него остался лишь верхний краешек, похожий на сутулую лису. Алая лисица стремглав скакала по крышам домов, мелькала за стволами редколесья, стелилась по чистым полям, неслась то ли от погони, то ли за добычей...

Михайлин и Васильев так и не зазвали Карбышева к дорожной чарке.

* * *

За Мостами, прогрохотав над Неманом, поезд сбавил ход. Далее пошли Дубно, Жидомля, и наконец, тяжело отдуваясь, паровоз замедлил бег на входных стрелках гродненской станции и еще долго и медленно тянулся вдоль перрона. Рядом с начальником вокзала в красном верхом картузе стояли в полевых фуражках командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член Военного совета армейский комиссар 2-го ранга Бирюков, благо штаб армии находился неподалеку от вокзала.

Карбышев хорошо знал всех трех командармов Западного округа: генералов Коробкова, Голубцова, Кузнецова. Водил дружбу с Коробковым, а Василия Ивановича Кузнецова, тезку Чапаева, считал настоящим полководцем. Сорокашестилетний генерал (а по «императорскому» счету подпоручик) ведал толк и в кровопролитных боях, и в армейской службе. К тому же он всячески поддерживал усилия Карбышева «осаперить пехоту», то есть научить войска азам саперного дела в устройстве заграждений, переправ, в сооружении полевых укрытий.

Кузнецов лично проследил, как разместили московского гостя в служебной гостинице на улице Коминтерна⁸, а утром пригласил его в штабной салон на товарищеский завтрак. К столу была подана неманская форель под польским соусом и драники со сметаной, а потом черно-волосая официантка принесла стаканы с хорошо заваренным чаем и свежее испеченный маковый рулет, нарезанный косыми долями. Завтракали впятером: Кузнецов с Бирюковым и Карбышев с Михайлиным и Васильевым. Как ни старался Кузнецов увести застольный разговор от насущной служебной темы, как ни расхваливал он прелести здешней рыбалки, всё равно речь зашла об укрепленных, точнее о недоукрепленных, районах. Кузнецов, флегматик, вдруг завелся, помянув крепким словом всех должников, из-за которых стопорится работа в УРах, велел принести графинчик с зубровкой. После третьего тоста слегка поутих и спросил Карбышева:

– В Москве-то хоть знают, что у нас тут на кордонах творится?

– Полагаю, что знают. Разведупр не дремлет.

– Тогда почему же нас на голодном пайке держат: то этого нет, то другого? Мы ж тут не бани строим, мы на главном направлении стоим.

⁸ Сегодня это улица Карбышева. До 1939 года носила имя Наполеона.

– Василий Иванович, мы с вами ведем наступление на наркомат концентрическими ударами: вы отсюда, мы оттуда.

– И в результате ни туды и ни сюды. Стоит стройка. То есть что-то там делают, роют, отсыпают, бетонируют, трамбуют, а недострой как стоял, так и стоит. Мое мнение: немцы долго ждать не будут. Им сейчас самая лафа ударить. Иногда крамольная мысль приходит: а не потворствует ли им кто в верхах?

Бирюков, наполняя рюмки, вовремя вступил в разговор:

– Ну, я бы не стал так утверждать, Василий Иванович. Вредителей у нас всегда хватало, но в данном случае типичное российское разгильдяйство. Ни одна великая стройка без него не обходилась.

Кузнецов усмехнулся:

– Вот за что я тебя люблю, товарищ Фурманов, так это за рассудительность. Александр Македонский тоже полководцем был, но зачем же стулья ломать? Не будем ничего ломать, будем строить, строить и строить назло надменному соседу... Дмитрий Михайлович, мне твоя мысль насчет «осаперивания пехоты» нравится. Дельная мысль. За это и выпьем.

* * *

В состав Западного особого военного округа входили четыре укрепленных района. После Гродно Карбышеву предстояло побывать в Осовце, Замбруве и Бресте. На территорию бывшей Восточной Польши, в Западную Белоруссию, он ехал не в первый раз. Здесь многое напоминало ту Россию, в которой он вырос, был произведен в офицеры, женился, за которую воевал в Японскую, а затем Германскую войну и которая истаяла, переродилась после 1917 года в государство рабочих и крестьян, столь помпезно провозглашенное большевиками. И никто не хотел взять в толк, что этим «государством рабочих и крестьян» управляли политики, ни разу не стоявшие у станка и никогда не ходившие за плугом. Но, к вящей гордости тех, кто умел это делать (гнать стальную стружку из-под резца или вспарывать лемехом землю), государство, и его армия, и даже флот назывались рабоче-крестьянскими.

Карбышев никогда и никому, кроме самых близких людей, не высказывал своих оценок-мнений по поводу внутренней политики «пролетарских» вождей, памятуя грустную притчу: один мудрый человек подумал, подумал и... ничего не сказал, потому что времена были опасные, да и слушатели не очень надежные. Опасным для его новой советской карьеры было прежде всего дореволюционное прошлое с подполковничьими погонами. Упоминание о нем в довершение к любому навету могло сыграть роковую роль: «Ну как же, как же. Карбышев потому так и сказал (сделал, поступил, промахнулся), что не вытравил из себя царского офицера. Да и что можно ожидать от затаившегося вредителя и якобы попутчика?» Дмитрий Михайлович прекрасно это понимал и никому не давал повода для подобных инсинуаций. Хотя кто знает, что хранилось в его секретном личном деле у начальника особого отдела академии?

Единственный человек, с кем он мог отвести душу, кто понимал, что подразумевалось между слов, – это маршал Шапошников. Несмотря на существенное различие в их нынешнем служебном положении, они не забывали и про ту табель о рангах, которая почти уравнивала их: оба были подполковниками в императорской армии, а теперь в РККА оба стали канатоходцами – шли по натянутой проволоке без страховки. Карбышев водил дружбу с командиром 4-й армии, занимавшей Брест, то есть южный фланг Западного фронта, молодым генерал-майором Александром Коробковым, говорил на одном языке и с двумя остальными командармами – генералами Голубевым и Кузнецовым, сверкавшими в свое время золотыми погонами подпоручиков... Но с полным доверием относился только к Шапошникову. Тот, как и он, носил в душе затаенную боль. И Карбышев догадывался, что было причиной маршальских терзаний.

СПРАВКА ИСТОРИКА

Когда в 1937 году было образовано Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР по делу группы Тухачевского, туда вошел и новоиспеченный начальник Генштаба РККА командарм 1-го ранга Б. Шапошников. Именно он, обладавший репутацией высокообразованного и порядочного человека, должен был символизировать беспристрастность суда. На процессе 11 июня 1937 года Шапошников испытывал явные угрызения совести от неприглядного спектакля: говорил о собственных упущениях и политической близорукости, вел себя достойно, несмотря на провокационные выкрики с мест, за весь день не задал подсудимым ни одного вопроса.

Но режим ломал людей не только на скамье подсудимых. Накануне процесса, 10 июня, следователь А. Авсеевич по указанию наркома внутренних дел Н. Ежова заготовил признательные показания одного из обвиняемых, бывшего комкора В. Примакова, о связи Шапошникова и других с военным заговором. Документ находился у председателя Военной коллегии Верховного суда СССР В. Ульриха, председательствовавшего на процессе. Если бы кто-то из судей попытался сорвать представление, он тут же оказался бы на одной скамье с подсудимыми.

Во времена золотых погон такая предусмотрительность была достойна карточного шулера. Но об этом не знал ни Шапошников, ни тем более Карбышев. И когда Дмитрий Михайлович, поддавшись на уговоры жены и благоразумных друзей, вскоре после Финской войны подал заявление в ВКП(б), то за рекомендацией обратился именно к Борису Михайловичу Шапошникову. Тот, хотя и носил на груди святую ладанку, совершил подобную рокировку еще в 1930 году: вступил в партию, будучи начальником штаба РККА. Шапошников подписал ему рекомендацию. Карбышев сказал на прощание: «Когда большевики стали собирать Россию, я понял, что должен быть в их рядах». Шапошников ответил загадочной улыбкой.

* * *

Здесь, в Гродно, если не считать инославной готики, всё напоминало Дмитрию Михайловичу родной с детства Омск: церковные купола и двухэтажные малолюдные улочки, сбегающие к центральной площади, швейцары у дверей ресторанов, извозчики, уличные фонари. А еще вывески, лавки, ларьки, киоски, фаэтоны, афишные тумбы, фонарщики, бродячие шарманщики – всё это было из той, исчезнувшей России и тихо грело душу. Выпадал свободный час, и Карбышев, накинув на генеральскую гимнастерку полотняный плащ вольного покроя, отправлялся на прогулку в сторону Старого замка. Неторопливо шагал по мощеным улочкам средневекового города; некоторые были не шире раскрытого зонта, но после разгонных московских просторов в них было особенно уютно. Дмитрий Михайлович с профессиональным интересом разглядывал контрфорсы, кованые стяжки, балки, угловые башенки. И эти крыши, утыканные каминными трубами, словно торт цукатами... Однажды примкнул к экскурсионной группе. Пожилая гродненчанка в строгом платье с кружевным воротничком рассказывала своим слушателям:

– ...во второй половине восемнадцатого века Гродно опять становится полноценным королевским городом. Здесь строится большая королевская летняя резиденция – Новый замок. Монархи Речи Посполитой Август III, а потом и Станислав Август Понятовский вместе со всем своим двором, министрами и сеймом живут ежегодно в Гродно с мая по октябрь. В это время все монастыри и храмы города получают огромные пожертвования и перестраиваются под образцы лучших европейских построек. Но всё великолепие заканчивается в 1795 году, когда Гродно входит в состав Российской империи...

А из Швейцарского сада наплывали звуки духового оркестра – полковые музыканты играли польку для двух корнетов. Веселая бездумная музыка зазывала в пляс. Почему-то желающих пройти вприпрыжку по кругу не находилось, хотя дуэт корнетистов играл виртуозно.

Дмитрий Михайлович пожалел, что рядом нет прекрасной попутчицы: уж она бы не устояла на месте.

В Старом замке душа Карбышева и вовсе возликовала – то был шедевр старинной фортификации. Со стороны Немана замок прикрывала стена из дикого камня с предвратным мостом, с толково продуманным тет-де-поном⁹. Даже спустя три века замок мог бы послужить хорошим опорным пунктом. Он бы устоял и против танковых атак, и против штурма пехоты, поддержанного огнем полковой артиллерии. Тут бы авиации пришлось немало поработать, прежде чем удалось подавить оборону. Да, без крупнокалиберной артиллерии здесь успеха не добиться... Карбышев по привычке мысленно расставлял по бастионам орудия и зенитки, намечал пулеметные гнезда, линии связи, защищенные ходы сообщений. Разумеется, то была всего лишь игра инженерного розмысла, как говорили во времена строительства замка. Вдоволь натешившись этой игрой и налюбовавшись видами с высоты холма, Карбышев спускался к Новому замку, где во времена Екатерины Польский сейм принял решение об окончательном разделе Польши и где в нынешние времена размещался армейский госпиталь. Поодаль, в пивном подвальчике, усаживался он за дубовый стол и не спеша пил пиво или кофе – по настроению. Но подобные прогулки случались весьма редко...

⁹ Тет-де-пон – в фортификации предмостное укрепление.

Глава шестая

Саперный чай

И тут природа вспомнила, что у нее есть север, и сразу же холодные ветры потекли туда, где второй месяц всё изнывало от дикой жары – в Мазурское полесье. Командарм-3 генерал-лейтенант Кузнецов промокнул платком взмокшую шею и не поверил адъютанту, который бойко доложил, что после обеда выпадет град.

– Какой, к черту, град в такое пекло? – возразил Кузнецов поджарому и подвижному, как ртуть, капитану Дымареву. – Хорошо бы грозу натянуло. Так парит уж точно перед грозой, не так ли, Дмитрий Михалыч?

– Я не метеоролог, – усмехнулся Карбышев, – но гроза будет.

Последние слова он произнес с особым потаенным смыслом, и Кузнецов его уловил. «Гроза» – это кодовое слово, которое в случае войны должно было прилететь из Генерального штаба. Но сейчас адъютант был всерьез озабочен не будущей войной, а обычной летней грозой, предсказанной метеослужбой: небо чернело, будто вздыбленная роющаяся дека.

– Товарищ командующий, я плащ возьму!

– Да, бери! – отмахнулся Кузнецов. – И о нашем госте позаботься!

Слово «гость» резануло ухо – Карбышев не считал здесь себя гостем. Это была его военно-инженерная вотчина, это было его поле боя, которое он готовил к жестоким сражениям. Хотел поправить Кузнецова, да не стал. Уж очень обидчив тезка Чапаева...

Адъютант уложил два брезентовых плаща в старомодный портплед (генерал любил старину) и пристроил всё это за спинкой переднего сиденья. Генерал-лейтенанты Кузнецов и Карбышев уселись сзади, и черная эмка двинулась к границе в сопровождении броневика БА-20.

За боковым окном мелькали придорожные ракиты и вётлы, проносились рощи, переходящие то в красноеполье – в сосновые ленточные боры, – то в белоствольные кущи березняков. Так они и тянулись, великолепные бело-бронзовые леса. И эти стройные, словно барабанные палочки, стволы, мельтеша в глазах, отбивали тревожные дробы...

Впереди броневика ехал мотоцикл с пулеметом на коляске. По здешним дорогам, особенно лесным, передвигаться налегке было рискованно: стрелки Армии крайовой, «аковцы», не дремали, а в последние две недели и вовсе ожесточились, как осенние мухи. Но небо голубело так безмятежно, а солнечная бронза сосновых стволов сияла так радостно, что просто не верилось, что с опушки этого картинного бора могут ударить выстрелы. Здесь, на самых западных рубежах страны, жили и служили почти во фронтовой обстановке, даром что войска держали пока что в лагерях да казармах.

Не доезжая местечка Снядово, генеральский кортеж притормозил. Дорогу преградила забрызганная известью лошададка, впряженная в телегу с железными бочками. Завидев служебную легковую машину, к эмке подбежал черноволосый коренастый капитан. Он лихо взял под козырек и четко представился:

– Командир отдельного саперного батальона капитан Шибарский.

Кузнецов строго глянул на сапоги комбата со следами глины на голенищах, на ладонь, густо покрытую цементной пылью, но, вспомнив, что перед ним сапер, строитель, удержался от замечаний и только спросил:

– Чем заняты люди?

– Третья рота снимает опалубку с артиллерийского дота номер сто десять. Вторая и третья находятся на стройплощадках в районе Сапоцкина и Ломжи. Четвертая рота – в Витебске.

Карбышев без лишних церемоний протянул руку ладно скроенному капитану и пожал ладонь со следами засохшего бетона.

– Покажите свое хозяйство.

Шибарский провел генерал-лейтенанта, на чьих черных петлицах серебрились такие же, как у него, эмблемы – скрещенные топоры, в только что отлитый из свежего бетона дот. Бойцы-саперы снимали опалубку, открывая мощные железобетонные стены с глубокими щелевидными амбразурами. Карбышев вошел в сквозник¹⁰, осмотрел пустые проемы для бронедверей.

– Двери пока не доставили, – пояснил капитан. – И броневые кораба тоже.

– И в ближайшие недели не ждите, – предупредил генерал, – промышленность подводит. Политбюро приняло специальное постановление по этому поводу, но постановлением амбразуры не закроешь. Поэтому, капитан, мой вам настоятельный совет... Впрочем, считайте, что это приказ: забивайте все проемы деревом, балками, досками, опалубкой. Какое-никакое, а всё же укрытие. Придет оборудование – дерево выбьете, поставите броню.

И тут гроыхнуло, полыхнуло – началась гроза. Кривопалой звездой воссияла молния. Гроза ударила с внезапной яростью – с градом, воем, со свистом... Помертвели березы в грозовом сумраке. Ветер согнул их в белые луки. Ливень обрушился почти что по расписанию, предсказанному адъютантом. Повсюду запрыгали-заскакали белые горошины града, сбивая пушистые головки одуванчиков. С мерным шумом заработал ткацкий станок дождя.

Комбат вместе с комиссаром батальона старшим политруком Ефремовым провел гостя в каземат. Карбышев выглянул в оружейную амбразуру – она была пуста, но сектор обстрела вырублен и выкошен.

– Молодцы! – одобрил генерал. – Дело знаете. Откуда вы родом, товарищ капитан?

– Ярославские мы. А призывался в Подмосковье. Комиссар наш, Александр Петрович, – туляк. А вы из каких мест?

– Я из Омска. Из сибирских казаков.

– Чайку не хотите? Чай у нас саперный, из местных трав – с чабрецом, душицей и зубровкой.

– Ну, если только саперный! – усмехнулся Карбышев. Шибарский кликнул старшину-татарина, и тот принес черный от копоти, явно снятый с костра полуведерный чугунный чайник.

– Рэхмет, хээрле сугышчы! – поблагодарил его генерал на родном языке. Старшина от удивления чуть не выронил чайник.

– Сэламэтлек ечен! Телебезне каян беләсез? (На доброе здоровье! Откуда наш язык знаете?)

– Мин узем татар!

– О, бисмилляги рахим!

Комиссар перехватил у опешившего старшины чайник и разлил по солдатским кружкам дымное крепкое варево, больше похожее на знахарское зелье, чем на чай, а затем выразительно взболтнул своей фляжкой:

– Разрешите, товарищ генерал, облагородить чай?!

– А что там у тебя?

– Настойка местной травы зубровки. Ее очень зубры любят. Противопростудное средство.

– Генерала спаиваете? – усмехнулся Карбышев, принимая из рук Шибарского кружку с ароматным чаем.

– Никак нет, товарищ генерал! Здоровье вам поправляем, чтобы не простудились.

– Добро. Облагораживай, – разрешил Карбышев, и Ефремов добавил во все кружки толику «противопростудного средства».

¹⁰ Сквозной тамбур перед входом в дот, предохраняет двери от ударной волны.

– С дымком, – оценил высокий гость, – и с травами. Эх, когда-то мы здесь тоже такой варили. Лет семнадцать назад... Я тогда тоже был капитаном и командовал под Брестом саперной ротой. Но только телеграфно-кабельной. И варили мы чаек, как говорят казаки, на сто-жарке.

– А мы здесь буржуйку поставили. Заодно и бетон сушит, и чайком можно побаловаться.

Капитан Шибарский провел генерала в смежный каземат. В командном посту, прямо под шахтой еще не установленного перископа, стояла бочка из-под соляра со всеми нужными про-резами. Труба ее была выведена в потолочное отверстие и тянула так, что ветер глухо завывал в шахте, словно в печной трубе.

– Всё правильно. В солдате прежде всего надо видеть человека, – произнес Карбышев свое любимое изречение. – Дельно придумали, надо ваш опыт другим передать. Да чай-то особенно гонять некогда. Немцы напружились, вот-вот нагрянут. А нам тут еще строить и строить... Я еще раз прошу уяснить такую здравую мысль: если начнутся бои, то принимать их придется с тем, что есть. Поэтому не ждите, когда привезут броняшку, а обустраивайте гарнизоны тем, что есть в наличии. Потом поменяете, если останется время.

– Немцы в последние дни очень оживились. Нам тут хорошо слышно, да и видно в бинокль тоже. Но вот с четверга они все притихли. Как-то не по себе от такой тишины... – поежился комбат.

– Да уж, не к добру такое затишье... – согласился Карбышев. – Вы оружие-то с собой взяли? Или только одни лопаты?

– Штатное оружие оставили по месту постоянной дислокации в Витебске. А здесь только винтовки для караульной службы.

– С таким арсеналом много не навоюешь...

– У нас вот с комиссаром еще наганы есть! – невесело усмехнулся Шибарский. – Да ведь оборону тут будут держать пульбаты, а мы восвоюси вернемся.

– Восвоюси еще вернуться надо. Это раз. И потом в прифронтовой полосе саперам тоже немало дел найдется. Это два. С оружием вы, ребята, промахнулись.

– Так начальство распорядилось, товарищ генерал, – пожал плечами Ефремов, – приказали оставить всё в ружейных комнатах и опечатать.

– Да-а... Начальство... – хмуро протянул Карбышев и снова обратился к Шибарскому: – На Финской не воевали?

– Никак нет. Не довелось.

– Будет время, будет отпуск, не пожалейте пару дней, побывайте на Карельском пере-шейке, посмотрите, как выглядят доты после хорошего боя. Это готовый полигон для нашего брата-сапера.

– Отпуск еще не скоро, товарищ генерал, но обязательно побываю. Спасибо за совет.

– Фамилия у вас интересная. Польская?

– Никак нет, самая что ни на есть русская. От слова «шибарь» – боец, ухарь, который и зашибить может.

– Ну тогда по Сеньке и шапка!

Гром рычал уже сам по себе, без молний и ливня.

– Дождь, похоже, кончается... – засобирился Карбышев. – Провожать не надо. Желаю вам, товарищ Шибарский, зашибить любого противника. И спасибо за саперный чай!

Гром старательно погромыхивал, прогоняя за лес, за Буг стадо лиловых туч. Карбышев вернулся в машину. Кузнецов восхищался градом:

– Такая шрапнель лупила, думал, стекла побьет. От такой напасти только в дотах и укры-ваться!

– По дотам, не дай бог, другая шрапнель шарахнет. Настоящая, – передернул плечами Карбышев. – И не шрапнель, а фугасы.

Капитан Шибарский долго не выходил у него из головы. Стоят они, солдатушки, бравы ребятушки, на краю пропасти, на виду у врага. Других прикрывают, а сами безоружные. Ненароком припомнилось и собственное капитанство. Оно тоже проходило в этих же местах, только чуть южнее – под Брестом. Всё было почти так же: в воздухе висела угроза большой войны с Германией и Австро-Венгрией... И так же Генеральный штаб силился укрепить западные границы России, только вместо дотов возводили новые форты – что вокруг Брестской крепости, что вокруг Гродненской, что вокруг Осовецкой...

Эх, были когда-то и мы рысакими, то бишь капитанами... Да еще и при тонких щегольских усах! И он в новеньких штабс-капитанских погонах с четырьмя звездочками на каждом, вот так же, как и этот советский капитан Шибарский, день-деньской пропадавал в котлованах, рвах, на стройплощадках, где почти такие же, как сегодня, солдаты таскали на носилках кирпичи и землю, трамбовали бетон, возводили насыпи эскарпов и траверсов. Эх, знать бы тогда, что все эти хлопоты окажутся сизифовым трудом, что почти все крепости западного порубежья придется самим же и взрывать перед сдачей врагу – что Брестскую, что Осовецкую, что ту же Гродненскую... Горько было, обидно, непостижимо. Но пережили. Октябрьский большевистский переворот затмил потом все эти потери другими, еще более горшими и большими. А сегодня как бы и этому bravому капитану Шибарскому не пришлось переживать то же самое разочарование, что пережил и он, штабс-капитан Карбышев. Да что разочарование – ядовитую горечь военного разгрома... Как бы ему самому уцелеть в этой понадвинувшейся кровавой грозе? Такой вот он, этот саперный чаек, с горькими полевыми травами...

Глава седьмая

Лямус в коробчицах

Служебный день был в разгаре, когда в кабинете Глазунова (каморка в одно окошечко с видом на кирпичные крыши города) зазвонил телефон. Звонил из штаба армии член Военного совета армейский комиссар 2-го ранга Бирюков.

– Занят? – спросил он. – А то загляни ко мне, дело есть.

Знакомство, да можно даже сказать и дружба, с таким высокопоставленным чином, как Бирюков, вторым лицом в 3-й армии, безусловно, льстило Глазунову. Он никогда не заискивал перед начальством, не искал блатных связей. Но с Бирюковым их связывала тайная нить, которую не понять, не ощутить тем, кто не воевал в Монголии, на Халхин-Голе. Тем же самым боевым братством были связаны и все те, кто прошел через бои в Испании, испанцы или финны (они же финики). В русской армии традиционно были сообщества севастопольцев, и порт-артурцев, и цусимцев... Бирюков не делал Глазунову никаких послаблений по службе, но в случае чего мог бы хорошо прикрыть. Глазунов это понимал и очень ценил. Как-никак оба халхингольцы.

* * *

Николай Иванович Бирюков, армейский комиссар 2-го ранга, был не совсем обычным политработником. За двадцать лет службы ему пришлось командовать и взводом, и ротой, и батальоном, и даже полком. За его спиной остались и Орловские пехотные курсы, повторные курсы при Московской пехотной школе, курсы «Выстрел», преподавательская деятельность в Танковой школе... С равным успехом он мог провести и полковые учения, и партийную конференцию. Но в начале сорок первого его служба вошла в черную полосу, и в феврале его сняли с должности члена Военного совета Дальневосточного фронта, а затем вывели из состава кандидатов в члены ЦК ВКП(б) «как не обеспечившего выполнение обязанностей кандидата в члены ЦК ВКП(б)». Из Владивостока он прибыл в Гродно с ощутимым понижением в должности – членом Военного совета 3-й армии, всего лишь армии. И хотя комиссарское дело ему было более чем хорошо знакомо, освоиться на новом месте за два месяца пока не удалось. Третью армию лихорадила скрытная и напряженная подготовка к подступавшей войне: формирование новых соединений, строительство укрепрайонов, скрытное пополнение скадрированных частей, поступление новой бронетехники и еще множество самых срочных военных дел, не считая служебно-жизненных проблем...

В приемной члена Военного совета майор Глазунов быстро оглядел себя в настенном зеркале, вывешенном специально для посетителей. Пред очами высокого начальства полагалось представлять в уставном виде, со всеми застегнутыми пуговицами, с подтянутыми ремнями, с короткими прическами и с расчесанными усами, у кого они были. Усов Глазунов никогда не носил, поэтому просто пригладил волосы ладонью, поправил шлейку портупеи, одернул гимнастерку и, дождавшись приглашающего жеста адъютанта, вошел в кабинет.

Бирюков не дал ему представиться, как положено: их встреча подразумевалась приватной и очень личной, поэтому Николай Иванович сразу же протянул руку и повел гостя в соседнюю с кабинетом комнату отдыха. Бирюков хотел деликатно навести однополчанина-халхингольца на мысль, что дома у него не всё благополучно и хорошо бы жену отправить на время в «исходное», то есть в Москву. Но как это сделать так, чтобы не обескуражить Глазунова, не обидеть его, не убить ненароком, генерал толком не знал и в последнюю минуту твердо решил не говорить об истинной причине приглашения.

Сели за низенький столик, накрытый тонким монгольским ковром. Бирюков наполнил рюмки домашней настойкой на лимоннике.

– Попробуй, чем меня Изабелла Николаевна балует!.. Ну, рассказывай, как служится на новом месте.

– Хорошо служится. Люди толковые. И место нескудное – передний край, почти как на Халхин-Голе.

– Это ты точно подметил, передний край... Как говорится, передок, – тяжело вздохнул Бирюков и раскрыл наградной серебряный портсигар с «Казбеком». – И что там по наблюдаемым данным?

– Сегодня мои люди засекли появление танков на том берегу. Стягивают немцы силы с каждым днем.

– Стягивают, сволочи. Вот и думай тут, что хочешь... Москва делает вид, что всё идет своим чередом. Велят не паниковать и не провоцировать супостата. Ну, не паникуем. Не провоцируем. А немцы, как саранча, в рой сбиваются всё плотнее и круче... Как там твои дочурки-то?

– Растут, Николай Иванович, старшая скоро в школу пойдет. Хочу вот заранее записать ее в нашу, в гарнизонную.

– Заранее – дело хорошее. Но школа у нас пока еще никакая. Педагоги с бору по сосенке, в большинстве жены комсостава. А первые классы – они самые важные, они установочные. Как начнешь учиться, так и дальше пойдет. По себе знаю. Так что вот тебе мой совет: отправь-ка ты их всех в Москву, столичные школы – не чета нашей.

– А как они там без нас будут учиться?

– Бабушки-то в Москве остались?

– Так точно, одна в Москве, другая в Валуйках.

– Вот к ним и отправляйте!

– Да как-то не с руки. Мы здесь, дети там... Полагаю, Галина не согласится.

– А ты и ее отправь! – наседал Бирюков, почуяв хороший предлог. – Чего ты так на меня уставился?

– Так она у меня на службе здесь.

– Вот по служебной линии и переведем. Я помогу. Тем более обстановка здесь накаляется. Детишек лучше подальше от границы.

– Николай Иванович, сами знаете, дело такое щекотливое. Не поощряют нас за такие настроения – на восток уезжать.

– Знаю. Не хуже тебя знаю. Сам об этом постоянно говорю. Но тут речь идет о служебном переводе, а это тебе не массовая эвакуация на восток. Галина и знать не будет. Переведем ее, и пусть едет.

– Да как-то неожиданно всё это...

– Неожиданно... Жизнь полна неожиданностей. О себе печешься? Без жены как без рук, а? А ты о детях подумай, о дочурках своих. Успокоится тут всё – обратно вернутся, а пока отправляй их в Москву.

Он проводил майора до дверей кабинета и грустно посмотрел ему вслед: «Эх, разведка! За немцами следит, а что у самого в тылу деется, и знать не знает».

* * *

Дома Галина, узнав о разговоре с Бирюковым, резко воспротивилась:

– Уезжать?! В кои-то веки мы все вместе под одной крышей. Никуда мы не поедem! Школа еще через год. У меня на службе всё наладилось. Коллектив хороший. Где я еще такой найду?

– Галя, Бирюков прав: коллектив коллективом, а немцы – рукой подать.

– Ты что, не веришь в нашу силу? В силу Красной армии? В кодексе и такая статья найдется, – пошутила Галина.

– Верю в мощь нашей армии, верю, что мы победим. Но если бомбежка начнется, то...

– То мы спустимся в подвалы и подождем, когда сталинские соколы очистят небо!

– Ты что, по родителям не соскучилась?

– Ни капельки! Не успела еще...

И так словца без конца. Галина категорически не хотела покидать Гродно и возвращаться в Москву.

* * *

До назначения в Гродно майор Глазунов полгода прослужил в Белостоке. Вроде бы близко, а города разные. Гродно намного живописнее Белостока – благодаря Неману, могучей широкой реке, и вздымавшимся над ним бастиям Старого замка, и колокольням старинных храмов. Но в остальном всё было схоже: вокзальная площадь, щедро усеянная конскими яблоками, так же среди булыжной мостовой змеились трамвайные рельсы. Крыши черепичные и жестяные, утыканые шестами громоотводов, а кое-где и антеннами радиоприемников. На решетчатых балкончиках стояли кадки с фикусами, драценами, пальмами. Крыши с мансардными окнами и цоколи с подвальными полуоконцами в нишах. То тут, то там торчали исклеванные шипами электриков деревянные телеграфные столбы в многоярусных гирляндах фарфоровых изоляторов.

Черепичные крыши, краснокирпичные стены, булыжные мостовые... После дождя мокрый булыжник брук становился разноцветным и отливал почти всеми цветами радуги, как морские камешки на пляже. Город был плотно составлен, словно макет из кубиков: дворцы, доходные дома, костелы и синагоги, лавки, отели, склепы, гимназии, рынки, кладбища, монастыри, казармы, вокзал... А потом вдруг обрывался, не переходя в приземистые предместья. Улицы сразу же впадали в полевые дороги.

Майор Глазунов во главе смешанной оперативной группы (на усиление ему дали трех пограничников) мчался на грузовике в деревню Коробчицы. Там, по сообщению закордонного агента Самуся, должна была сосредоточиться команда «бранденбургеров» – головорезов из специального полка «Бранденбург»¹¹. Надо было успеть до того, как они выйдут на ночные подвиги.

Перед околицей полуторка затормозила и встала на обочине, прикрыв капот и лобовые стекла в густых придорожных зарослях бирючины.

Обезвреживать диверсантов должны были органы НКВД, но Глазунов не хотел сливать своим конкурентам информацию, полученную весьма непростым путем, ведь тогда именно им, чекистам, достанутся потом все лавры. «Мы разведали, мы и берем», – однозначно решил он. В конце концов, военные разведчики должны иметь свой боевой опыт.

На самом отшибе деревни стоял полуразвалившийся лямус¹² с галерейкой во всю фасадную стену. Именно там и затаились «бранденбургеры», да так тихо, что ни огонька, ни звука. Глубокая тишина и полная темень. Выставив кольцевое оцепление, Глазунов сам с пятью автоматчиками ползком подобрался к лямусу. Ночная птица испуганно заголосила, громко и протяжно, будто дули в глиняную дудку. Что это, сигнал тревоги? Все бойцы замерли, спрятав лица в густую траву. Но неясить (наверное, это была она) улетела, и всё снова замерло. До лямуса

¹¹ Полк «Бранденбург-800» – воинское формирование специального назначения в составе вермахта, функционировавшее в годы Второй мировой войны в подчинении абвера, одно из самых секретных в германских сухопутных войсках. Предназначалось для проведения разведывательно-диверсионных операций в тылу противника и обеспечения агентурной работы абвера.

¹² Хозяйственная постройка во дворе.

они подползли никем не замеченными. Да и было ли кому замечать? Убывающая луна проливали в оконца тусклый свет. Глазунов заглянул в сарай. То, что он увидел, поразило: в гряде сена безмятежно спали человек семь в красноармейской форме. Спали без пилоток и сапог. Густо запыленные кирзачи с голенищами, обернутыми портянками, стояли, как в казарме, рядом. На широкой лавке дрых под шинелью здоровенный «лейтенант», надо было полагать, командир группы. Рыжий чуб лихо выбивался из-под надвинутой на нос пилотки.

У противоположной стены, у ворот, перекрытых дрыном, кемарил, вскидывал голову и снова кемарил часовой с автоматом на коленях. Все они даже не лежали, а валялись ничком, как спят люди, предельно уставшие, изнуренные донельзя. Приглядевшись, Глазунов понял главную причину изнурения: в укромном углу стоял перегонный куб, а вокруг него пустые бутылки с остатками бимбера¹³.

План захвата возник сам собой.

– Залегайте вблизи ворот, – шепнул майор старшине-пограничнику. – Будут выбегать, бейте всех, кроме самого здорового – «лейтенанта». Его живым надо брать. Ну, еще пару можете оставить на развод. А остальных вали.

– А выбегать-то они будут?

– А то! Сейчас увидишь...

Глазунов достал из кармана новенький коробок спичек, поджег их все разом. Коробок шумно полыхнул и полетел через оконце в накиданное сено. Через пару секунд занялось пламя, и диверсанты, враз очнувшись, босиком ринулись к выходу. Сломав запорный дрын, они распахнули ворота и, хорошо подсвеченные сзади, сразу же стали четкими мишенями для залегших автоматчиков. Их выбивали на выбор, оставив, как просил майор, двоих и «лейтенанта»-атлета. Оцепление затоптало огонь и не дало заняться всему лямусу. Всё произошло быстро и четко. Даже неясить не улетела, а по-прежнему подавала протяжные тоскливые гуки в темень ночного леса. Ни одним огоньком не откликнулась и деревня, разве что собаки, взбуждаемые выстрелами, подняли яростный перебрех. Но вскоре и они стихли.

Через пять минут Глазунов уже допрашивал главаря в кабине грузовика. «Лейтенант» после схватки сразу с тремя бойцами дышал быстро-быстро – то ли от напряжения, то ли от испуга. Крупные капли собирались на лбу, и он пытался стереть их о плечо: руки были связаны, плечо не доставало до лица.

Глазунов тоже тяжело дышал, но вопросы задавал нарочито спокойным голосом:

– Кто таков? Фамилия, имя, отчество?

– Нэ розумью.

– Нэ розумишь?! А на каком же языке ты розумишь? На польском, на немецком?

– На ридной мове.

Глазунов вырос в украинской семье матери, и потому хорошо говорил на «мове».

– Зрозуміло, – усмехнулся он. – Поговоримо рідною мовою. Хто такий? Прізвищэ, ім'я, по батькові.

– Бугайчик Сэмэн Тymoфійович.

– Бугайчик – фамилия или кличка?

– Хвамилия.

– Звідкы родом?

– Місто Станіслав.

– Ты у них тут командир?

– Я.

– Хреновый ты командир. Охранение не выставил, наблюдение не организовал. Вон видишь три трупа? Это твои хлопцы, они на твоей совести! Молчишь, Сэмэн?

¹³ Бимбер – польский самогон.

– Мовчу...

– С «Бранденбурга»?

– Чого пытаєтэ, колы і так усэ знаєтэ?

– Ты прав. Всё знаем. Знаем, что в полк «Бранденбург» прибыли из Львова сто двадцать украинских хлопцев. По тылам у нас будете шуровать? Ну, шуруйте. Ты уже пошуровал, и остальные так же будут... Вот ты хохол, и я хохол. Мать у меня Оксана Литвиненко из Винницы, городок там такой есть – Погребищи. Слыхал?

– Ну, чув.

– Батя у меня в Киеве родился. И я на своей земле живу: и на украинской, и на белорусской, и на русской. Всюду на своей. Мне нигде не заказано. А вот гляжу на тебя и понять не могу: ты-то на какой земле живешь? На польской? На немецкой?

– Я на своей жил, на галичанской, пока вы, большевики, к нам не приперлись.

– Врешь, браток. Жил ты как раз не на своей, а на польской земле. И против поляков вы всё время гундели. А теперь вот с Гитлером снюхались. На хрена?

– Потому и снюхались, – перешел на четкий русский язык Бугайчик, – что немцы наших злейших врагов разбили, ляхов. И жидов приструнили, и на москалей управу найдут.

– А потом и вам, бандеровцам, по шее накомстыляют. Мавр сделал свое дело, мавра можно и в крематорий.

– Сліпый сказав: подывимося!

– Ну что ж, посмотрим. Подывимося. Живи пока... До побачення!

«Лейтенанта» Бугайчика и уцелевшего рядового диверсанта после основательного допроса в Гродно отправили в Минск. К пассажирскому составу Гродно – Минск был прицеплен спецвагон с камерами без окон. Впрочем, окна были, но только снаружи, – фальшивые окна, чтобы вагон ничем не отличался от остальных, обычных. Все камеры были полны под завязку. Поезд покинул станцию поздним вечером 21 июня...

Глава восьмая

Храм Христа Спасителя

Грызла, точила генерал-лейтенанта Карбышева вина за взорванный храм Христа Спасителя. Понимал, что не просто дом Божий взорвал – уничтожил и памятник славы русского воинства, одолевшего нашествие Наполеона и с ним двенадцать языков покоренной и собранной под французский триколор Европы. Вся Россия деньги собирала, чтобы увековечить подвиг своих сынов.

Дмитрий Михайлович пытался ограничивать свои размышления только техническим заданием: как заложить взрывчатку, чтобы ударные волны погасили друг друга, не разрушили соседних зданий. Задача не из простых, задача чисто инженерная, эдакая практическая физика. И он это сделал. И всё получилось наилучшим образом: храм рухнул, осел, развалился, не повредив соседнюю застройку. Говорят, Каганович, глядя на поднявшееся облако дыма и пыли, радостно потирал руки: «Задрали мы подол матушке-России!»

СПРАВКА ИСТОРИКА

25 декабря 1812 года, когда армия Наполеона была изгнана из России, император Александр I в благодарность Богу подписал Высочайший манифест о построении в Москве церкви во имя Христа Спасителя. Храм был заложен в сентябре 1817 года в присутствии императора Александра I. Строился 44 года на добровольные народные пожертвования как коллективный памятник воинам, павшим во время Отечественной войны 1812 года.

Строительство Дворца Советов заморозили с началом Великой Отечественной войны. Часть металлических конструкций дворца пошли на изготовление противотанковых ежей для обороны Москвы. Вскоре едва поднявшееся от фундамента здание было полностью разобрано.

В конце 1929 года было впервые проведено так называемое антирождество, приуроченное к празднику Рождества Христова: в Парке культуры и отдыха имени Горького в Москве собралось около ста тысяч человек. «Стихийно вспыхивали то там, то здесь костры из икон, религиозных книг, карикатурных макетов, гробов религии и т. д.». На катке «Красные Хамовники» шло представление: «Боги и попы с церковными песнями бросились, махая крестами, на пятилетку, появился отряд буденновцев и дал залп, от выстрелов загорелась церковь...»

Кинооператор Владислав Микоша вспоминал: «...через широко распахнутые бронзовые двери – не выносили, выволакивали с петлями на шее чудесные мраморные скульптуры. Их просто сбрасывали с высоких ступеней на землю, в грязь. Отламывались руки, головы, крылья ангелов. Раскалывались мраморные горельефы, дробились порфирные колонны. Стальными тросами стаскивали при помощи мощных тракторов золотые кресты с малых куполов. Рушилась отбойными молотками привезенная из Бельгии и Италии бесценная мраморная облицовка стен. Погибали уникальные живописные росписи на стенах собора.

Изо дня в день, как муравьи, копошились, облепив несчастный собор, военизированные отряды. За строительную ограду пропускали только с особым пропуском... Красивейший парк перед храмом моментально превратился в хаотическую строительную площадку – с поваленными и вырванными с корнем тысячелетними липами, изрубленной гусеницами тракторов редчайшей породы персидской сиренью и втоптаннами в грязь розами. Шло время, оголились от золота купола, потеряли живописную роспись стены, в пустые провалы огромных окон врывался холодный со снегом ветер. Работающие батальоны в буденовках начали вгрызаться в трехметровые стены. Но стены оказали упорное сопротивление. Ломались отбойные молотки. Ни ломы, ни тяжелые кувалды, ни огромные стальные зубила не могли преодолеть сопротивление камня...

Сталин был возмущен нашим бессилием и приказал взорвать собор. Даже не посчитался с тем, что он в центре жилого массива Москвы...

Только сила огромного взрыва и не одного 5 декабря 1931 превратила огромное, грандиозное творение русского искусства в груды щебня и обломков».

И сделал это именно он, военинженер 1-го ранга Дмитрий Михайлович Карбышев. И всё получилось наилучшим способом, ни одно из соседних зданий не пострадало, даже стекла не вылетело. Правда, взрывать пришлось дважды: стены, сложенные из известняковых плит, скрепленных не цементом, а расплавленным свинцом, устояли после первого взрыва. Возможно, храм был подкреплён и особой благодатью небес. Но главный спец по военному инженерному делу выполнил приказ большевистского начальства, как положено военному человеку – без рассуждений, отговорок, точно и в срок.

Обрушился храм... Обрушился, как последний супостат, варвар... И теперь не будет ему прощения на Страшном суде. И ещё до Страшного суда наверняка обрушится на него кара, как обрушилась главка с крестом и застряла в арматурной сетке купола. Это апокалипсическое зрелище так и застыло в его памяти, будто на фотопластинке. Он часто размышлял об этом неизбежном возмездии и полагал, что оно настигнет его на новой войне. Не видать ему больше военного счастья, которое так часто светило саперному офицеру и на Японской войне, и на Германской... Но вот в грядущей войне, уже ощутимо нависшей над страной, ему, святотатцу (пусть и поневоле), пощады не будет. Потому и уезжая в Гродно, прощался с родным домом так, будто уже уезжал на войну, с которой ему не вернуться...

И ведь так оно и вышло, если заглянуть в «ответы в конце задачника»...

И теперь при виде всякого храма, будь то церковь или костёл, совесть жестоко напоминала ему: «Ты не просто взорвал дом Божий, ты убил память о тех тысячах русских солдат, офицеров, генералов, которые победили Наполеона, выдворили его и его многоязыкое войско за пределы родной земли, спасли Россию».

Возможно, в какой-то мере он смог бы искупить свою вину, если бы построил новый храм. Но он строил доты, капониры, полевые укрепления... Тем не менее в одном из рабочих блокнотов были набросаны эскизы пятиглавого храма, весьма похожего по своим пропорциям и обводам на шедевр церковной архитектуры, что стоит на берегу Нерли. Таил надежду: а вдруг когда-нибудь сподобится?

Не сподобилось...

«Ослаби, остави, прости, Боже, согрешения наши вольные и невольные, яко во дни и в ночи, яко в ведении и в неведении, яко во уме и в помышлении... Вся нам прости, яко Благ и Человеколюбец!»

Не ослабил, не оставил, не простил... В память врезался обломок взорванного храма: беломраморный Спаситель смотрит из-под руин в небо. И это было словно второе его распятие. И распинал Христа среди прочих и он, доцент кафедры военно-инженерного дела в Военной академии РККА.

* * *

Вечером 21 июня Карбышев, вернувшись из Ломжи, ощутил зверский голод. Столовая комсостава была уже закрыта, и он решил поужинать в ближайшем ресторанчике. Но идти туда в форме благоразумно не рискнул, вспомнив предупреждения охранявших его особистов. Конечно, можно было послать гродненского адъютанта лейтенанта Митропольского, и тот доставил бы ужин в номер. Надо было только снабдить его нужной суммой. Дмитрий Михайлович открыл портмоне, стал отсчитывать купюры, но тут ему попалась монета в пять злотых, подаренная попутчицей Марией. Он вспомнил о приглашении на обед в любой день. Отужинать после тяжелого служебного дня в семейном кругу в компании с прекрасной дамой – да об этом можно было только мечтать. Карбышев отыскал в бумажнике ее визитку, позвонил от дежурного по штабу и сразу же услышал знакомый голос. Мария узнала его, обрадовалась,

что он не забыл ее имя, и радушно зазвала на ужин. На всякий случай Дмитрий Михайлович оставил адрес Табуранских лейтенанту Митропольскому и ушел, набросив дорожный серый плащ, который хорошо скрывал воротник с петлицами и генеральские лампы.

По пути на Виленскую он купил последний букет из рук собравшейся домой цветочницы. Это были местные розы – темно-красные, почти бордовые, с нежным малиновым ароматом. Цветочница подсказала, как быстрее найти нужный адрес. Уже зажглись уличные фонари, но горели они неустойчиво, помигивали, а то и вовсе гасли на секунду-другую, потом снова вспыхивали, будто сигналили – тревожно и непонятно. Карбышев посетовал, что не взял извозчика. Вечерний Гродно – это не вечерняя Москва. Ну да вот и Виленская! Прежде чем постучать в дверь, Дмитрий Михайлович внимательно осмотрел небольшой – в три фасадных окна и в два этажа – дом. Он был построен явно из крепостного гладкого кирпича: взорванную Гродненскую крепость местные каменщики активно разбирали на «цеглу». Над входной дверью, разделявшей фасад на две равные половины, ржавела некрашенная решетка балкончика, а на нем сиротливо торчал фикус в кадке.

Дверь открыла сама Мария. Она очень обрадовалась и тут же представила гостя маме. Пани Ванда встретила незнакомца очаровательной улыбкой, а когда он снял плащ и предстал во всей красе генеральского френча, и вовсе зашла в комплименты... Карбышев поспел как раз к ужину.

– У нас сегодня фляки! Марыся очень любит это блюдо, – причитала пани Ванда, выстав-
ляя фаянсовую суповницу на стол. – Вы любите фляки?

Это простое польское кушанье Карбышев хорошо знал еще по довоенному Бресту: наваристый суп из коровьего рубца. Просто и сытно. Но не всем по душе требуха. В Омске большая семья Карбышевых не выбирала деликатесы.

Досадно было, что квартирантом этого милого семейства оказался незнакомый майор. Кто его знает, что и куда он потом настроит? Трудно объяснить приватный визит московского генерала в частный польский дом, тем паче что личные контакты с местным населением в Гродно не поощрялись. Однако майор за стол не присел, извинился и поспешил на какое-то ночное дежурство. Вместо него компанию поддержала его жена Галина, не менее красивая, чем Мария. Вместе с ней заглянули и две девочки, бойкая и смелая постарше, застенчивая – помладше. Они хотели убежать, но гость уговорил их прочитать какое-нибудь стихотворение. И красивая мама попросила. Тогда старшая Оля встала на стул и с выражением стала читать:

Ой, чуй, чуй-чуй-чуй,
На дороге не ночуй —
Едут дроги во всю прыть,
Могут ноги отдавить.
А на дрогах сидит дед —
Двести восемьдесят лет,
И везёт на ручках
Маленького внучка.
Внуку этому идет
Только сто тридцатый год,
И у подбородка – борода коротка.

Совершенно неожиданно строгий важный гость вдруг стал подчитывать Ольге шуточное стихотворение, которое он тоже знал на память. И они продолжили дуэтом:

А у деда борода —
Как отсюда вон туда...

И оттуда через сюда,
И обратно вот сюда!
Если эту бороду
Расстелить по городу,
То проехало б по ней:
Сразу тысяча коней,
Два буденновских полка,
Двадцать два броневика,
Тридцать семь автомоторов,
Триста семьдесят саперов,
Да стрелков четыре роты,
Да дивизия пехоты,
Да танкистов целый полк.

Все зааплодировали: «Браво, браво!» Карбышев посадил Олю на колени.

– А у тебя нет бороды! – засмеялась девочка.

– Так я и не дед!

– Дед! – настаивала Оля.

– Какой же я дед, когда у меня даже внуков нет?

– Ты дед-воевода, который «дозором обходит владенья свои».

– Вот это правильно! Объезжаю дозором владенья свои!

Пани Ванда сняла кружевную накидку с видавшего виды фортепиано и взяла несколько звучных аккордов. К ней под села дочь, и они заиграли в четыре руки Шопена. А потом Мария стала играть одна, и она безошибочно выбрала пьесу...

Щемяще нежные переливы грустной мелодии наплывали из глубин детства, с родины этого прекрасного полонеза – из холмистых дубрав приеманского края, из Слонима, старинного городка над рекой Щарой. Здесь, на берегах медленной тенистой таинственной реки, родились звуки гениального полонеза.

Полонез Огинского... Какая пронзительная мелодия! Светлая печаль и щемящая нежность, ручеек сладкой кручины с перекатами нежной грусти. Мария оторвалась от клавиш и заметила, как бы про себя:

– Ференц Лист сказал о полонезах Огинского так: это «шествоие, некогда торжественное и шумное, но ставшее молчаливым и сдержанным при приближении к могилам, соседство которых умеряет надменность и смех». Как точно сказано!

Карбышев высказал свое мнение:

– Возможно, Листу было виднее. Но если вслушаться, то полонез – вовсе не шествоие, а прогулка с любимой женщиной по парку, прощальная прогулка перед долгой разлукой. Как близок он по своей тональности к пассакалье!

– О, вам знаком даже такой жанр?! Пассакалья! Пожалуй, вы правы!

– Пассакалья? Что такое пассакалья? – спросила пани Ванда. – Никогда не слышала такого слова.

– Ну мама! – Мария укоризненно покачала головой. – Ты же была в Риме, разве Янина не водила тебя в филармонию? Это прощальный испанский танец, который исполняли прямо на улице, когда гости расходились.

Мария играла без перчаток, и теперь ничто не скрывало следы креозотных пятен на ее пальцах. Да, собственно, никто и не обращал на них внимания. Музыка завораживала...

Вечер у Табуранских выдался на славу. Никто и не догадывался, что это был последний мирный вечер. Карбышев почувствовал это, когда вернулся в гостиницу. Смутное чувство тревоги заставило его переодеться в полевую гимнастерку и натянуть не хромовые, а

яловые сапоги. Поздним вечером в номер постучался лейтенант Митропольский и протянул ему только что вычерченную тушью общую схему укреплений Осовца. После возвращения из Ломжи и Белостока Карбышев попросил инженерного лейтенанта перевести его черновые наброски в нормальный чертеж. Работа была сделана на совесть.

– Благодарю вас, товарищ лейтенант! И советую переночевать сегодня здесь, в общежитии штабных работников. Спокойной ночи!

Однако у самого на душе было столь беспокойно, что он тут же ушел в штаб. Там, несмотря на поздний час, было многолюдно. Озабоченный сверх обычного генерал Кузнецов сообщил ему последние новости:

– Разведка установила, что сегодня немецкие войска сосредоточились на восточнопрусском, млавском, варшавском и демблинском направлениях. Основная часть этих войск находится в тридцати километрах от пограничной полосы.

– Тридцать километров – это час езды, даже на танках за час отмахать можно.

– Так точно. А южнее Сувалок немцы установили тяжелую и зенитную артиллерию. Там же они сосредоточили и танки, а также много самолетов. А более подробно доложит начальник штаба. Я вас не знакомил? Кондратьев Александр и снова Кондратьевич.

Подтянутый, моложавый, с пышной шевелюрой генерал-майор встал и по-гвардейски кивнул. Карбышев сразу же уловил петроградский выговор. Докладывал Кондратьев четко и коротко:

– По агентурным данным, в Восточной Пруссии и, в частности, в районе Лик немцы сосредотачивают крупные силы. На направлении Лик – Граево сосредоточено до сорока тысяч немецких солдат. А теперь, товарищ генерал-лейтенант, по вашей части: сегодня немцы вели окопные работы на берегу Буга. А в Бяла-Подляска прибыло сорок эшелонов с переправочными средствами – понтонными парками, разборными мостами – и с большим количеством боеприпасов. Доклад закончен.

Карбышев молча пожал Кондратьеву руку. Кузнецов с глубоким вздохом подвел итог:

– Похоже, не сегодня завтра нагрянут к нам псы-рыцари. Вопрос, найдется ли среди нас новый Александр Невский.

– Найдется. – Карбышев кивнул на Кондратьева. – Вот он, перед вами: и Александр, и с берегов Невы.

Шутку оценили, но обстановку она не разрядила. Просидели над картами до часа ночи. Тяжелый день взял свое, голову повело на сон, и Карбышев распрощался до утра, которое, как известно, мудренее вечера.

Едва он ушел, как к Кузнецову вбежал взъерошенный начальник связи:

– Товарищ генерал, там по телеграфу идет приказ от наркома! Очень длинный. Еще не приняли.

Через минуту Кузнецов был в аппаратной. Приказ шел в зашифрованном виде. Долго, невыносимо долго... Потом связь вдруг прервалась. Кузнецов позвонил в Минск – может, в штабе округа разъяснят, что к чему. Но телефон молчал. Зловеще молчал...

А минуты шли... Потом, спустя много лет, Кузнецов, уже генерал-полковник, так и не мог понять, почему так долго шел в войска этот жизненно важный приказ? Ведь сколько часов, которые могли быть использованы для вывода войск на позиции, ушли на получение длиннющей шифровки и последующего дешифрования приказа из Москвы о приведении приграничных войск в боевую готовность. А ведь для таких экстренных случаев был придуман условный сигнал в одно лишь слово: «гроза». Получили кодовое слово – и тут же, не теряя лишних не то что часов – минут, сразу же вскрыли «красные пакеты», и дальше: «Подъем!», «В ружье!», «К бою!», «Вперед!»... Но почти три драгоценнейших часа, сто восемьдесят спасительных минут ушло на получение связистами огромного шифрдокумента, а затем на его расшифровку. Почему шифровали такое важное, неотложное распоряжение? Возможно, боялись, что немцы

его перехватят, расшифруют и тут же начнут боевые действия? Возможно... Опять всё тот же призрак провокации. Но главная причина в опасении: кодовое слово «гроза» – это действия по-боевому, это война. Но слово «гроза» не оговаривает то, что хотел оговорить Генштаб. В этом сигнале не было предупреждений – границу не переходить, через границу не стрелять, по самолетам огонь не открывать. Просто привести войска в боевую готовность и вывести на позиции. Но даже это оказалось невыполнимым. Время было упущено...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.